

**Николай Михайлович
КАРАМЗИН**

Юбилей 1991 года

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

МОСКВА

1992 г.

Николай

Михайлович

КАРАМЗИН

1766 – 1826

225 лет со дня рождения

200 лет «Писем русского
путешественника»

175 лет «Истории Государства
Российского»

Сборник научных трудов посвящен Николаю Михайловичу Карамзину, 225-летие которого широко отмечалось в 1991 году.

Основу сборника составляют материалы докладов, прочитанных на научных конференциях в 1991 году в Москве и Санкт-Петербурге. (Конференция в Москве была проведена на Археографической комиссией АН СССР, Государственным музеем А. С. Пушкина и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького; конференция в Санкт-Петербурге — Институтом русской литературы АН СССР (Пушкинским Домом).

Творчество Н. М. Карамзина, историка и писателя, рассматривается с точки зрения проблематики и поэтики в историко-литературном и культурном контексте его времени. Особое внимание уделяется литературным связям Н. М. Карамзина с русскими и западноевропейскими писателями XVIII, XIX, начала XX вв. Впервые публикуются некоторые архивные документы.

Предложенные материалы напечатаны в том виде, в котором они поступили в Государственный музей А. С. Пушкина, взявший на себя труд подготовить это издание к печати.

СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА:

доктор
филологических наук

Н. И. МИХАЙЛОВА

академик
Российской академии
образования

С. О. ШМИДТ

Е. О. Ларионова

**К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
«ЗАПИСКИ О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»
КАРАМЗИНА**

В изучении того или иного литературного произведения проблема историко-культурного фона, на котором это произведение возникло и может рассматриваться, всегда занимает видное место. Соответствующий контекст важен и для произведений собственно литературных, но, пожалуй, еще важнее он для понимания сочинений с широким общественным и политическим звучанием, к каким относится «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. Уточнение некоторых деталей историко-политического контекста карамзинской «Записки» и является целью настоящей работы. Речь пойдет о известном трактате графа Жозефа де Местра, сардинского посланника при русском дворе в 1803—1817 гг., — «Четыре статьи о России» («*Quatre chapitres sur la Russie*»).

Трактат графа де Местра был составлен к концу октября 1811 г. Предложение Местру составить записку о современном состоянии России исходило из ближайшего окружения Александра I. Вероятно, можно даже точно назвать имя гр. А. К. Разумовского. Так во всяком случае свидетельствовал авторитетный биограф и издатель сочинений Местра, его сын Родольф де Местр, издавая впервые в Париже в 1859 году это сочинение по рукописи, хранившейся в бумагах отца.¹ Из его указания также следует, что и самые предметы, обсуждаемые в записке, были Местру заранее определены. Сам Жозеф де Местр писал сардинскому королю Виктору-Эммануэлю 31 октября (12 ноября) 1811 г.: «Несколько времени назад, говоря с одним из членов Совета и лицом, приближенным императору, я высказал об этой стране мнения, которые не оставили его равнодушным; он просил меня записать их и передать ему. Я написал достаточно

пространную Записку, в которой рассматриваю Россию в трех отношениях: религии, науки и свободы. Правда, я эту Записку еще не передал...».² Лицо, близкое к императору, о котором говорит Местр, по всей вероятности, действительно Разумовский. Сближение Местра с Разумовским, с 1810 г. вставшим во главе Министерства народного просвещения, началось еще тогда. В письме своему министру иностранных дел России в сентябре 1810 г. Местр говорил о многочисленных беседах с Разумовским, о возможности свободно посещать графа, что, прибавлял он, «не принято здесь между министром страны и министром иностранным».³

Но и манера изложения, и аккуратно высказываемые своего рода «советы» русскому императору, и тон, в котором выдержан трактат, в сопоставлении с другими относящимися к России политическими сочинениями Местра этого времени, в первую очередь — с написанными для того же гр. Разумовского «Письмами о народном воспитании в России», свидетельствуют, что трактат адресовался непосредственно Александру I.⁴ Можно предложить, что желание получить в письменном виде мнения Жозефа де Местра о России исходило лично от Александра и что Местру дали это понять. Соответственно и темы, затрагиваемые Местром в своей записке, могли быть ему указаны как вызывающие особый интерес императора.

В своем трактате Жозеф де Местр пишет в 1-й главе, озаглавленной «О свободе», о перспективах освобождения крестьян в России, выступая убежденным противником этой идеи. Во второй главе, «О науке», — о судьбах просвещения в России, излагает свои взгляды на систему образования и критикует правительственные нововведения в этой сфере. 3-я глава, «О религии», и 4-я «О иллюминизме», служат религиозной программе Местра. Внимание, уделяемое в трактате вопросам философско-религиозным, достаточно велико. Все же определенная социальная программа здесь тоже заявлена, что в принципе делает возможным и сопоставление «Четырех статей о России» Местра с «Запиской о древней и новой России» Карамзина.

Определенная близость социальных взглядов Местра и Карамзина уже отмечалась А. Н. Шебуниным в его работе «Жозеф де Местр в России».⁵ Она, действительно, существует. Местр, как и Карамзин, исходит из необходимости для

России твердого и целостного самодержавия, невозможности существования монархии без сильного дворянства и соблюдения прав благородства, из общего неприятия реформаторской деятельности. И самому духу сочинения Местра, и традиционализму его философской и политической позиции как нельзя лучше соответствует заявленный и развиваемый в «Записке о древней и новой России» тезис, что всякая новшество в государственном порядке — зло и может быть оправдана лишь крайней необходимостью.

Есть более частные сближения. Например, мнение о слабости законов в России или критика вводимой по иностранным образцам системы образования. Местр, кстати, предостерегал и от введения критерия образования для занятия административных должностей, в чем А. Н. Шебунин видит критику указа об экзаменах на чин. Говоря о пагубных последствиях ликвидации крепостного состояния в России, Местр отчасти приближается к Карамзину даже в аргументации, уподобляя свободу, в этом случае действию вина на человека, к вину не привыкшего, и предлагая в противовес смягчение режима путем ликвидации злоупотреблений.

Вопросы русской внешней политики не нашли отражения у Местра: его положение не позволило свободно обсуждать их в такого рода сочинении. Позиция Местра в этих вопросах была жесткой, в значительной степени диктовалась его дипломатическими целями; высшая русская администрация хорошо ее себе представляла. Но и за пределами внешней политики трактат Местра, конечно, не в полной мере отразил его взгляды на современное состояние России. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к переписке Жозефа де Местра 1810—1811 гг. Мы найдем в ней высказывания Местра еще по ряду вопросов, затрагиваемых и в «Записке» Карамзина, и мнения эти в чем-то близки карамзинским. Например, в письме Виктору-Эммануэлю первой половины 1811 г. осуждается Петр I за то, что не имел уважения к своему народу и научил этот народ презрению к самому себе, лишив его обычаев, установлений, привычной одежды. Там же Местр подробно разбирает и критикует реформу Сената и деятельность Сперанского вообще. Повторяя то же в письме к России от 15 (27) августа 1811 г., он предрекает губительное, по его мнению, ослабление императорской власти и надеется на неосновательность конституционных планов Александра, и т. д.⁶

Примеров, в большей или меньшей степени точных, можно подобрать немало. Но как бы ни бросалось в глаза совпадение или сходство отдельных высказываний Местра и Карамзина, сравнение их требует все-таки большой осторожности. Трудно представить себе людей, более различных, чем Карамзин и Жозеф де Местр, по духу, по строю личности, по философии и мировосприятию. Столь же различны и их сочинения. Нам здесь важно лишь указать, что исходя из несхожих, порой противостоящих друг другу комплексов идей, взглядов и принципов, в интересующий нас момент Карамзин и Местр совпали в ряде своих суждений о современном состоянии России. Кроме того, трактат графа де Местра, как и «Записка» Карамзина, был адресован непосредственно императору.

Но если «Записка» Карамзина для Александра была некоторой неожиданностью, то о мнениях графа де Местра русский император должен был быть заранее хорошо осведомлен. Они могли стать известны Александру прежде всего через того же А. К. Разумовского. Да и содержание дипломатической корреспонденции Местра не всегда было скрыто от русских властей. Порой Местр даже писал свои дипломатической корреспонденции Местра не всегда было скрыто ния до сведения русского двора. У Жозефа де Местра уже была слава литератора, философа и политического писателя. С другой же стороны, несмотря на упрочившиеся к 1810 г. светские связи, Местр держался в русском обществе обособленно и не раз в письмах отмечал свое одиночество в Петербурге. В вопросах внутренней русской политики за его спиной не было никакой конкретной политической силы, любые высказывания Местра из этой области выражали лишь его личную позицию. К тому же Местр был не из тех людей, что меняют свои принципы в зависимости от политической ситуации. (Чем-то он, действительно, походил на Карамзина).

Итак, заказывая Местру записку о России, Александр I — а нам, повторяем, представляется наиболее вероятным, что это был он, — без сомнения, знал и кого он спрашивает, и какие мнения будут ему сообщены. Быть может, именно такие мнения он и хотел услышать.

Очевидно, что проблемы, затронутые Карамзиным в «Записке о древней и новой России», в это время волновали русского императора. Он собирал мнения. В начале 1811 г.

он познакомился с карамзинской «Запиской». Но Александра интересовали суждения и других независимых политиков и мыслителей, одним из которых он считал графа де Местра. Возможно, так родилась мысль заказать Местру секретную записку о России.

Кстати, эта атмосфера секретности, окружавшая трактат Местра, в чем-то сопоставима с той, в которой держалась «Записка» Карамзина. «Четыре статьи о России» копировались в строгой тайне. Местр на сей раз даже отступил от неукоснительно соблюдавшегося им дипломатического принципа ставить обо всем в известность своих короля и правительство. Он, правда, сообщил Виктору-Эммануэлю о подготовленном сочинении и некоторых обстоятельствах его появления, но скупой, в немногих словах, как бы не желая говорить лишнее. Полный текст Местра так и не послал, отговорившись отсутствием переписчика.⁷ Известно, что другие сочинения Местра, относящиеся к России, в том числе «Письма о народном воспитании» к Разумовскому, распространялись в Петербурге в списках.⁸ «Четырех статей о России» в их числе не было (во всяком случае у нас нет об этом сведений).

На первый взгляд сопоставление трактатов Местра и Карамзина затрудняет очевидная религиозно-философская ориентация «Четырех статей о России» Местра. Однако, можно предположить, что она не была заложена в самом замысле и русские власти ожидали сочинения преимущественно политического. В процессе работы Местра над запиской произошла трансформация первоначального задания. Связано же это было с обострением проблемы иезуитов.

Как свидетельствовал и сам Местр в уже цитированном письме королю от 31 октября 1811 г., когда он писал свою записку, на повестку дня вновь стал вопрос о иезуитах в России.⁹ Одной из практических целей деятельности Местра в России было как раз усиление позиций иезуитского ордена. Летом 1810 г. он адресовал Разумовскому «Пять писем о народном воспитании в России». Здесь Местр резко критиковал систему образования в России, в особенности — проект Сперанского об учреждении Лицея, выдвигая в противовес иезуитскую систему воспитания. Он также поддерживал требования иезуитов о придании их Полоцкой коллегии статуса академии и, соответственно, выведении всех их учебных заведений Запада России из подчинения Вилен-

скому университету, что делало их фактически неподконтрольными. Осенью 1811 г. доклад иезуитского генерала Бржозовского, содержащий данные требования, слушался в кабинете министров, и Местр желал его поддержать. В «Записке о свободе государственного обучения» Местр резюмировал идеи, высказанные ранее в «Письмах о народном воспитании». Эта записка была 6 (18) октября 1811 г. вручена А. Н. Голицыну и вскоре передана им Александру I.¹⁰ В то же время эта новая «Записка» Местра, как свидетельствовал он сам в письме Виктору-Эммануэлю, непосредственно соотносилась с текстом готовящегося трактата.¹¹ Из указаний же Родольфа де Местра следует, что во второй половине «Четырех статей о России» широко использовались письма к Разумовскому.¹² Мы вправе предположить, что в борьбе за права иезуитов Местр не хотел упускать случая говорить по этому вопросу лично с императором. Он сориентировал в нужном направлении свой трактат о России. Сочинение получило яркую философско-религиозную окраску. Но вряд ли именно религиозные взгляды Местра так интересовали русский двор (в частности Александра). Дважды они уже были ранее высказаны Местром письменно. На этот раз, очевидно, в гораздо большей степени ждали политических рассуждений.

Так или иначе, но по прочтении «Четырех статей о России», весной 1812 г., Александр приблизил к себе Жозефа де Местра. После нескольких конфиденциальных бесед с императором Местру даже последовало предложение вступить в русскую службу.¹³ В это же время были удовлетворены все требования иезуитов, но, пожалуй, не стоит с их успехом напрямую связывать внимание, оказанное Жозефу де Местру. Александр I, по замечанию самого Местра, никогда не был особо расположен к ордену и только терпел его.¹⁴ Утверждая привилегии иезуитов, он отчасти уступал минутной политической ситуации, отчасти давлению некоторых лиц своего окружения. Интерес же к Местру должен был, вероятно, основываться на общей системе политических взглядов сардинского посланника, довольно полно выраженных в трактате о России, а также, несомненно, в личных беседах с царем.

Итак, сочинение Жозефа де Местра о России может служить нам некоторым ориентиром в изучении исторического и политического контекста «Записки о древней и новой

России» Н. М. Карамзина. Вряд ли можно со всей определенностью утверждать, что секретная записка о России была заказана Местру непосредственно в связи с недавним чтением Александром I записки Карамзина. Но на впечатление от карамзинской записки у императора, конечно, должно было наложиться чтение трактата Местра. Многие мнения Карамзина нашли в «Четырех статьях о России» подтверждение. Быть может даже, представляя себе в общих чертах позицию Местра, император и ждал от него подтверждения, в каком-то смысле «проверял» суждения Карамзина. Так или иначе, социальные программы Местра и Карамзина имели точки соприкосновения. А как показывает реакция Александра на сочинение Местра, эти взгляды могли претендовать на благосклонное внимание русского императора. Несколько лет спустя, уже после войны и в совершенно изменившейся политической обстановке Александр I награждал Карамзина, по его же словам, именно за «Записку». Столь определенное отношение к «Записке о древней и новой России» сложилось у императора, очевидно, не сразу, а претерпело некоторую эволюцию. И думается, трактат графа де Местра не мог не оказывать влияние на мнения Александра о «Записке» Карамзина. В любом случае «Четыре статьи о России» Жозефа де Местра могут учитываться при изучении «Записки о древней и новой России» Карамзина.

1. Maistre, J.de. Quatre chapitres inédits sur la Russie publ. par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris. Vaton, 1859. P. VI.

(Имя здесь полностью не раскрыто: говорится о графе Р...).

2. Maistre, J. de. Oeuvres complètes. Nouvelle édition. Lyon, Witte et Perrussel, 1886. T. 12. P. 73.

3. Maistre, J. de. Oeuvres complètes. Lyon, 1885. T. 11. P. 493. О сближении Местра с А. К. Разумовским см. также: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 71—72; Triomphe, Robert. Joseph de Maistre. Etude sur la vie et sur la doctrine d'un materialiste mystique Genève, Droz, 1968 (Travaux d'histoire éthico—politique, XIV). P. 248—249.

4. Косвенным подтверждением служат, например, следующие заключительные слова трактата: «Считать ли дерзостью со стороны иностранца, что он берется высказывать свое мнение по вопросам внутренней политики? Еще были

бы сомнения, если бы сочинение было обнаружено, если бы оно не явилось в результате негласного одобрения, если бы не была соблюдена должная осторожность, или если бы оно было выдержано в духе критики, действительно, непростительном. Но намерения автора очевидны, и он считает, что нигде не отступил от них. Да и могли ли пристрастие, предубеждение вкратце в сердце, преисполненное уважения и признательности? Все в этом сочинении служит безопасности, счастью, славе Его Императорского Величества. Каждая строка продиктована живейшей преданностью Его августейшей особе». (Maistre, J. de. *Quatre chapitres inédits sur la Russie*. P. 152—153).

(Под заключением однако стоит дата «16—28 декабря 1811». Таким образом, оно, вероятно, было написано позже основного текста и, строго говоря, может не отражать первоначальной авторской установки).

5. Степанов М. (Шебуниин А. Н.) Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29—30. С. 599—602. Авторство А. Н. Шебуниина указано В. А. Мильчиной на основе рукописи работы. (Мильчина В. А. Тютчев и французская литература. (Заметки к теме). // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45 № 4. С. 348). Социальная программа изложена Местром в основном в 1 и 2-й главах трактата.

6. Maistre, J. de. *Oeuvres complètes*. Т. 12. P. 31—32, 39, 51—60.

7. *Ibid.*, P. 75, 81.

8. См.: Степанов М. (Шебуниин А. Н.) Жозеф де Местр в России. С. 618, 625. «Пять писем о народном воспитании в России» («Cinq Lettres sur l'éducation publique en Russie») впервые были опубликованы Родольфом де Местром в 1851 г.: Maistre J. de. *Lettres et opuscules inédits*. Paris. Vaton, 1851. Т. 2. P. 299—362; русский перевод: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 2. С. 248—287.

9. Maistre J. de. *Oeuvres complètes*. Т. 12. P. 73.

См. также: Толстой Д. А. Римский католицизм в России. Историческое исследование. СПб., 1877. Т. 2. С. 176—229; Степанов М. (Шебуниин А. Н.) Жозеф де Местр в России. С. 598.

10. «Memoire sur la liberté de l'enseignement public»; подп. «Philalexandre». См.: Triomphe, Robert, Joseph de Maistre. P. 254.

11. Maistre J. de. Oeuvres complètes. T. 12. P. 73—75, 80—81.

12. См. прим. к 3-й главе трактата. Четвертое из «Писем о народном воспитании» Родольф де Местр счел даже нужным приложить к публикации трактата.

Заметим одну деталь. И в письмах к Разумовскому, и в «Четырех статьях о России», обрушиваясь на протестантизм, Местр приводит «саморазоблачительные», по его мнению, цитаты из «обвиняемых» авторов. Упомянут и Карамзин. Со ссылкой на «Письма русского путешественника» цитируются слова Канта из разговора с Карамзиным. Интересно, отметили ли как-нибудь для себя и заметили ли вообще император и Разумовский появление имени Карамзина в данном контексте?

13. Степанов М. (Шебунин А. Н.) Жозеф де Местр в России. С. 602—604.

14. Maistre, J. de. Lettres et opuseules inédits. Paris, Vaton, 1851. T. 1. p. 344.

Г. Н. Моисеева

**«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
КАРАМЗИНА В ОЦЕНКЕ И. ДОБРОВСКОГО**

В ценной книге В. П. Козлова «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников»¹ оказалась пропущенной рецензия великого чешского слависта И. Добровского на первые восемь томов «Истории государства Российского», опубликованная в 1882 г. в венском журнале «Jahrbücher der Literatur».

Йозеф Добровский и Н. М. Карамзин между собою не были знакомы. В 1792 г., когда Добровский приехал в Петербург, а потом в Москву, Н. М. Карамзин, только что вернувшийся из путешествия по Западной Европе, был еще совсем молодым человеком. В 1792 г. вышла из печати его первая повесть «Бедная Лиза», принесящая ему известность. Историческими разысканиями Карамзин начал заниматься позднее, в конце 90-х гг. XVIII в. Тогда он и познакомился с собирателями древних рукописей: А. И. Мусиным-Пушкиным (в 1797 г.), с проф. Ф. Г. Баузе, с Н. Н. Бантыш-Каменским, с митрополитом Платоном, с протоиереем Успенского собора Петром Алексеевым и другими лицами, с которыми активно общался в период пребывания в России чешский славист И. Добровский.

Но несмотря на то, что лично Добровский и Карамзин не были знакомы, их объединял серьезный взаимный интерес к общим научным проблемам, к трудам, вышедшим из печати и готовящимся к изданию. Н. М. Карамзин, например, внимательно изучал печатные работы Добровского: в «Истории государства Российского» мы видим ссылки на издаваемые Добровским журналы «Slavin» (1806 г.) и «Slovanka» (1814 г.); а также на совместный труд Добровского и его учителя Фортуната Дуриха — «Bibliotheca Slavica», изданный в Вене в 1795 г. Добровский с напряженным интересом

следил за работой Н. М. Карамзина над «Историей государства Российского». В письме к П. И. Келлену в Россию Добровский писал: «...нужно показать все рукописи, находящиеся в России и употребляемые Карамзиным, чтобы было видно общее»².

В 1818 г., когда вышли из печати первые восемь томов «Истории государства Российского», директор Венской Национальной библиотеки Ириной Копитар послал Добровскому эти тома с просьбой написать рецензию для журнала «Jahrbücher de Literatur».

То, что рецензия была заказана именно Добровскому, понятно, ибо европейским ученым была хорошо известна работа над древними рукописями, проведенная чешоком славистом в 1792 г. в петербургских и московских библиотеках, архивах и книжных собраниях церквей и монастырей.

Йозеф Добровский сразу же по выходе «Истории государства Российского», получив от И. Копитара извещение о прибытии в Вену первых томов «Истории» Карамзина, приступил к их внимательному изучению.

Мне посчастливилось ознакомиться не только с печатной рецензией Добровского, опубликованной в 1822 г. в Вене в 20 томе «Jahrbücher der Literatur», с ее черновым вариантом, но и с подготовительными заметками Добровского, относящимися к характеристике источников Карамзина. Эти заметки во всей полноте раскрывают блестящую осведомленность Добровского в русских рукописных материалах.

Обширная рецензия Добровского начинается с общей оценки труда Карамзина: «Diese in jeder Rücksicht vortreffliche Arbeit, die aller Vorgänger Versuche weit hinter sich zurücklässt, ist die Frucht von zwölfjähriger Anstrengung». (Эта великолепная во всех отношениях работа, которая оставляет далеко позади себя все попытки предшественников, является плодом 12-летн. труда).³

Это как бы ответ на упрек Пушкина русским рецензентам, которые «не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина»⁴. Добровский с полным правом смог выносить на общественное мнение свое суждение, ибо он знал почти все основные источники «Истории государства Российского».

Добровский вполне одобряет новую периодизацию русской истории Н. М. Карамзиным и отвергает периодизацию, предложенную А. Шлецером. Он говорит о том, что первый раздел «Истории государства Российского» «знакомит с источниками», упоминает две «самые древние рукописи, написанные на пергаменте в XIV—XV вв.». Он пишет: «...к сожалению, одна из них сгорела при нашествии французов. Тем ценнее частые отрывки как из одной, так и из другой, которые даются в достаточном количестве в многочисленных примечаниях, приложенных к каждому тому»⁵.

Речь идёт о Троицкой летописи 1408 г., сгоревшей в 1812 г., которую Добровский видел в Троице-Сергиевской Лавре в 1792 г.⁶ Отметим, что действительно, благодаря примечаниям Н. М. Карамзина, М. Д. Приселкову удалось сделать реконструкцию Троицкой летописи⁷.

В характеристике второй летописи «Zaurentii manu» (руки Лаврентия) Добровский несомненно исходит из своих собственных представлений. Лаврентьевская летопись действительно, как свидетельствует приписка на последнем листе рукописи, переписана «мнихом Лаврентием», в 1307 г. Рукопись эта до 1811 г. находилась в «Собрании российских древностей» А. И. Мусина-Пушкина. Н. М. Карамзин, которому А. И. Мусин-Пушкин дал возможность пользоваться этой летописью, называет ее в «Истории государства Российского» — Пушкинской. И. Добровский видел Лаврентьевскую летопись в 1792 г. в «Собрании российских древностей» А. И. Мусина-Пушкина, которое до 1798 г. находилось в Петербурге.

В 3-м томе «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин ссылается на «Русский Временник». Добровский отмечает в своих записках: «Оригинал имел в своих руках Карамзин. Смотри его ссылку на стр. 201. Вышло традиционно, недостаточно вероятно. Но нужно обозначить: написан в XVII веке без новейших прибавлений. В библиотеке Мусина-Пушкина эта самая летопись Костромская»⁸.

Эта летопись хранится в настоящее время в ГИМ, собр. Черткова, 115а, 115б. На последнем листе запись: «Сия книга Костромского Богоявленского монастыря». Летопись вышла из печати в Москве в 1790 г. Безусловно, чтобы знать, что в летописи события кончаются XVII в. (точнее — 1681 г.) Добровский основательно просмотрел эту летопись в «Собрании российских древностей» Мусина-Пушкина.

Особо подчеркивает Добровский, что Карамзин отметил поздние добавления в Никоновской летописи, что он привлек «дипломатические документы» (грамоты, духовные и договорные), а также всю «россику».

Но в некоторых случаях Добровский очень тактично позволяет себе не согласиться с какими-то конкретными деталями в характеристике источников «Истории государства Российского» или толковании отдельных словоупотреблений в древнерусских рукописях. Так, например, Добровский пишет: «Ошибкой Карамзина является тот факт, когда *koljada* (*koljada*) делают славянским божеством. *Koleda* — это ничто иное как латинское *colenda* средневековья, подарок, который подносят к Новому году. Отсюда *koledovati*, т. е. собирать такие подарки, просить об этом. Вообще, славянская мифология нуждается еще в тщательном разборе и критической проверке».⁹

Добровский не согласен с тем, что «Церковный устав Владимира, который дан в Кормчей (Номоканоне) XIII в., господин Карамзин считает поддельным». Добровский знает эту рукопись, которая хранилась (и хранится сейчас)¹⁰ в Москве в Синодальном собрании и описана им под № 82 — «Софейския правила».

Как говорилось выше, Добровский видел эту рукопись, когда она была привезена в Петербург в Синод и А. И. Мусин-Пушкин показывал этот манускрипт, переписанный в Новгороде при архиепископе Кlemente в 1282 г. У Добровского она не вызывала сомнений в подлинности.

Не согласен Добровский с Карамзиным в характеристике перевода Библии, Карамзин говорит о древнейшем переводе XI—XII вв., который отличался от перевода XVI в. Добровский, напротив, пишет, «что русские уже в XI—XII вв. имели гот же самый перевод, какой обнаруживается в Острожской библии» (1581 г.).

Очень интересные соображения высказал Добровский в связи с характеристикой Карамзиным деятельности митрополита Алексея. Карамзин, ссылаясь на рукописное житие митрополита Алексея, считает, что он «перевел Новый Завет (Евангелие) с греческого языка». Добровский видел рукопись митрополита Алексея в Москве в 1792 г. Об этом он писал в 1795 г.: «*Novum Testamentum in membrana Sec. XIV Manu Alexii Metropolitanæ Scriptum creditur*»¹¹).

В рецензии на «Историю государства Российского» Добровский пишет: «В Чудовом монастыре в Москве хранится древняя рукопись, которую считают собственноручной работой Алексея. Он же, собственно говоря, точнее сравнил уже имеющийся славянский перевод с греческим оригиналом и, где это ему казалось нужным, исправил его».¹²

В пятом томе «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин характеризует «Слово о полку Игореве» и высказывает свою точку зрения на этот великий памятник Древней Руси. Добровский очень высоко оценивает это мнение Карамзина. Достаточно вспомнить, что когда в 1820 г. Вацлав Ганка начал готовить к изданию перевод «Слова» на чешский язык, Добровский сразу же ему посоветовал: «А вообще-то Вы сами достаньте «Историю» Карамзина», чтобы при переводе и комментировании учесть мнение русского историка. Сам Добровский был высочайшего мнения о «Слове». В письме к Копитару он писал: «Если бы русские не имели ничего, кроме летописей от Нестора до 1630 г., то все равно это было бы очень много. К тому же присоединяется Песнь об Игоре — поэма рядом с которой ничего нельзя поставить!».¹³

Первые восемь томов «Истории государства Российского», вышедшие из печати в 1818 г., кончались характеристикой раннего правления царя Ивана IV до смерти царицы Анастасии Романовны в 1560 г.

У нас, естественно, нет возможности показать всю работу Добровского, проведенную им при рецензировании «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Добровский стремился возможно полнее представить европейской публике этот замечательный труд русского историка. Поэтому он с возможной полнотой передает его содержание, считая это своей первой задачей. И только в отдельных случаях мягко и тактично высказывает свои соображения по источникам или уточнение фактов.

В конце своей обширной рецензии Добровский пишет: «Мы должны почерпнуть из этого труда г<осподи> на Карамзина богатство исторических данных и признать стремление господина автора хронологически составить всё, что ведет к славе России. Если мы сделали упреки за некоторые мелочи, то для того чтобы, по крайней мере, показать, с каким вниманием мы читаем даже примечания».¹⁴

Прочитав это проникновенное заключение рецензии Добровского на «Историю государства Российского», невольно вспоминаем, что в это же время с горечью писал Пушкин: «Появление Истории государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин... В журналах его не критиковали: у нас никто не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина. Каченовский бросился на предисловие. Никита Муравьев, молодой человек умный и пылкий, разодрал предисловие (предисловие!). Михаил Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящий гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал от историка не истории, а чего-то другого. Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет, во время самых лестных успехов, и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам».¹⁵

Рецензию Добровского на «Историю государства Российского» европейские ученые ждали с большим нетерпением. По выходе из печати новых томов И. Копитар писал Добровскому из Вены в 1824 г.: «Есть в Вас уже IX и X т. Карамзина? В этом случае рецензируйте его как можно скорее».¹⁶ В следующем письме он снова спрашивает Добровского: «Когда мы получим вторую рецензию на Карамзина?»¹⁷

Добровский не успел написать вторую рецензию на «Историю государства Российского». Последующие тома выходили уже после смерти русского историографа. А в 1829 г. умер и Добровский.

Но, оставшиеся запечатленными в печатном слове и в черновых заметках Добровского, свидетельства глубокого научного общения чешского и русского великих ученых останутся незабываемыми страницами взаимодействия и взаимообогащения славянских культур в конце XVIII — начале XIX веков.

1. Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценке современников. М., 1989.

2. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. Труд И. В. Ягича // Сб. ОРЯС, т. XXXIX, СПб., 1885, С. 667.
3. Istorija gosudarstva Rossijskogo. d. i. Geschichte des russischen Staates. Zweyte verbesserte Ausgabe. Petersburg, 1818/1819. VIII Bände in gr. 8 // Jahrbücher der Ziteratur, Zwanzigster Band. Wien, 1822. S. 214. (Далее: Jahrb. d. Lit.).
4. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII. М. Л., 1949. С. 61—62.
5. Jahrb. d. Lit., S. 214.
6. И. Добровский писал в 1806 г.: «В библиотеке Троицкого монастыря я нашел один очень древний Временник на пергаменте in folio, который написан отличающимся от других летописей языком; он заслуживает быть напечатанным» // Slavín. Prag. 1806. P. 50—51.
7. Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М. Л., 1950.
8. Literarní archiv. Památníku národního písemnictví v Praze. 12/СН/27. P. 4 av.
9. Jahrb. d. Lit., P. 71.
10. ГИМ, Синодальное собр., № 132.
11. Novum Testamentum graece. Halle, 1795, P. С XXX.
12. Jahrb. d. Lit., P. 239.
13. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. С. 647.
14. Jahrb. d. Lit., P. 258.
15. Пушкин А. С. Полн. собр. соч., Т. VII. С. 61—62.
16. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке. С. 507.
17. Там же. С. 508.

Н. А. Марченко

ЭМБЛЕМЫ И АЛЛЕГОРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ КАРАМЗИНА

В 1788 г. был издан сборник «Эмблемы и символы избранные, на российский, латинский, французский и немецкий языки переложенные, прежде в Амстердаме, а ныне во граде св. Петра напечатанные и исправленные Нестором Максимовичем-Амбодиком». Максимович-Амбодик был масоном, безусловно знаком с Н. И. Новиковым и известен его сподвижникам, среди которых был молодой переводчик и поэт Н. М. Карамзин. В 1803 г. в Москве была издана «Иконология, объясненная лицами; или полное собрание аллегорий, эмблем и пр. Сочинение, полезное для рисовщиков (так!), живописцев, гравиров, скульпторов, стихотворцев, ученых людей, а особливо для воспитания юношества, содержащее 225 фигур, гравированных г. Штибером в Париже». Эти две даты — 1788 и 1803 годы — охватывают практически все время творчества Карамзина-писателя. Карамзин был прекрасно знаком с языком эмблем, и потому что он владел всеми культурными шифрами своей эпохи, и потому что этим языком пользовались масоны, к обществу которых Карамзину некоторое время принадлежал.

Эмблематика, осознанная еще современниками Петра I как один из важнейших языков западно-европейской барочной культуры, к 1780-м годам уже хорошо известна русско-образованному читателю. Следы этого знакомства можно проследить в гравюрах, посвященных многочисленным праздникам петровского и елизаветинского времени — фейерверки, триумфальные ворота, в родовых гербах нового времени, снабженных девизами, в украшениях кораблей и архитектуры, склонных превращаться в связный «текст». ¹ В отличие от привычной для средневековой культуры системы рисунков храмов, от житийных икон, обращенных ко всем

верующим и понятных им (икона — книга для неграмотных), эмблематический текст существует только для посвященных. Дешифровка его может быть произведена на разных уровнях, так что чем лучше зритель или читатель владеет языком эмблем, тем глубже и тоньше становится его понимание, с тем большей легкостью он узнает целое по части, свободнее оперирует эмблематическими предметами, создавая свои эмблематические тексты.² Эта постоянная интеллектуально-образная игра, столь свойственная культуре карамзинского времени, подготавливает богатство и разнообразие культурного пространства пушкинского времени.

Эмблематические сборники играли роль словарей, причувывших своего читателя-зрителя к определенным сочетаниям картинок и подписей, накапливая запас образных блоков синонимов и омонимов: среди эмблем есть одинаковые девизы к разным картинкам или, наоборот, одинаковые картинки снабжены разными подписями.

Как только эмблема перестает быть статичной, она становится материалом для аллегорий, пробуждая фантазию художника, стремящегося передать зрительными образами отвлеченные понятия. Это особенно наглядно, когда сравниваешь сборник Амбодика 1788 года с «Иконологией» 1803 года. Среди исследователей бытует ложное мнение, что эмблематические сборники в XVIII веке издавались много раз. Амбодик недаром в названии своей книги подчеркивает, что издание его является непосредственным наследником сборника «Эмблематика и символы», напечатанной в 1705 году в Амстердаме по заказу Петра I. Между 1705 и 1788 годами в России не было издано ни одного сборника подобного типа — вероятно, русские читатели пользовались не только русскими, но и привозными эмблематическими словарями.

В предисловии к своему изданию Амбодик пишет: «Эмблема есть остроумное изображение, или замысловатая картинка, очам представляющая какое ни есть естественное вещество, одушевленное существо, или особливую повесть, с принадлежащею к ней нарочитою надписью, состоящей в кратком слов изречении». Эмблемы в его сборнике расположены по шесть изображений на листе, в довольно свободном порядке, каждая картинка заключена в круг, изображения просты и состоят из одного-трех предметов. «Как тело и душа, будучи воедино сопряжены, соделывают естественную

связь человека, так известные образы и слова, вместе сложены будучи, составляют совершенный смысл и человеческим очам представляют вразумительные эмблемы и символы». Символы, т. е. подписи, даются на отдельной странице, под соответствующими номерами эмблем — название картинки и девизы на четырех языках: «Символ есть краткая надпись, состоящая в остроумном изречении немногих слов, совершенный смысл в себе заключающих; кои будучи соединены с эмблемою, руководствуют в нас к познанию другой вещи, или повести, исторический, политический, нравственный или таинственный смысл, или подобное сему означенное, содержащий».

В начале книги, в качестве словаря, дается толкование смысла отдельных изображений. Словарь построен по алфавитно-тематическому принципу — отвлеченные понятия (справедливость, милосердие), науки, искусства, художества; мнимые божки языческие; стихии, явления воздушные и солнце; время, животные, растения, части тела, небесные тела, вещи, части света, гербы государств и различных городов.

В отличие от Амбодика, в «Иконологии» приведены разработанные рисунки-картинки и к ним даются подробные объяснения, что и как должно быть нарисовано и что какое имеет значение. Эмблематические изображения, вернее части их, включены в аллегорические картинки как атрибуты. Здесь уже нет символической круглой рамки, очерчивающей изображение и концентрирующей всю его смысловую энергию, так что сопровождающая его подпись, первоначально расположенная по внешнему кругу рамки, еще ту же стягивает ее. Нет и самих сопровождающих подписей. «Иконология» не дает канона — это примеры свободного толкования образительными средствами человеческих страстей и свойств, добра и зла, состояния духа и темперамента.

«Размышление. Сие слово собственно значит оборот вещи к той стороне, откуда она произошла. Сообразно сему смыслу оно также изъясняет действие разума, упражненного рассматриванием какого-нибудь предмета. Чего ради представляют его в образе старой женщины сидящей и углубившейся в своих мыслях. Она держит на коленях зеркало, в которое ударяет луч света исходящего из ее сердца, отражающегося на ее челе. Сия эмблема означает, что просвещение разума исправляет сердечные помышления».

У Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «В иных местах, на вершине скал, зарастают травой печальные остатки древних рыцарских замком, бывших в свое время неприступными. Там богиня Меланхолия во мшистой своей мантии сидит безмолвно на развалинах, и неподвижными очами смотрит на течение веков, которые один за другим мелькают в вечность, оставляя едва приметную тень на земном шаре.³ Меланхолия — состояние философского размышления, образ ее в искусстве известен со времен Дюрера. В стихотворении «Меланхолия» (1800 г.) Карамзин, писал:

Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь,
И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись молчать,
И на прошедшее взор нежный обращать.⁴

Эмблема никогда не является в литературном произведении как некая статичная картинка. Чтобы перейти в слово, она должна отказаться от неподвижности, разорвать магический круг, в который она заключена, и превратиться в символ, в намек. Ее присутствие обогащает текст, дополняя его многозначностью, которая была бы недостижимой иными способами.

По грозной влаге океана
Мы все плывем на корабле
Во мраке бури и тумана;
Плывем, спешим пристать к земле —
Но ветер ярится с новой силой
И море... служит нам могилой.⁵

В сборнике 1788 года кораблю посвящено восемь эмблем. Это один из самых разработанных мотивов, он получит особенное распространение в литературе эпохи романтизма — бесконечные лодки Жуковского, «Воздушный корабль» Лермонтова и т. п.

В сборнике Амбодика предлагаются следующие варианты: 408. Корабль с распущенными ветрилами на море. Искусство управлять счастьем. Проворство и хитрость повелевают всем. Наука предохраняет от бури и ненастья. 238. Корабль с распущенными парусами. Пекися об обеих. Охраняя оба конца. 523. Малое судно к великим кораблям плывет на парусах. Последую им и их достигну. 170. Корабль или галера на море. Со счастьем. С благополучным мореплаванием. Тщанием и наукою все достигается.

У Карамзина:

После бури и волнения,
Всех опасностей пути,
Мореходам нет сомненья
В пристань мирную войти...
Жизнь! ты море и волнение!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.⁶

Аллегория судьбы — лодка, которую носит по житейскому морю — широко распространенный образ, и в то же время один из самых древних архетипов: лодка Харона и многочисленные лодки в фольклоре других народов, перевозящие души умерших, соединяющие мир живых с миром мертвых.⁷ Миф, изображение, ритуальное или, позже, театральное действие, эмблема и поэзия представляются сложной и разновременной системой зеркал, отражающих размышления человека о жизни и смерти, о цели бытия и понятие благополучного конца.

Погибель ждет пловцов беспечных,
Когда их кормщик в бурю спит.⁸

У Амбодика: 14. **Корабль в открытом море.** Кормчий сего не спит. Правитель корабля бдит недреманно.

У Карамзина:

Но кормщику не можно
Без ветра морем плыть. Уму лишь править должно
Кормилом жизни сей;
Нас по морю несет шумящий ветр страстей.⁹

У Амбодика: 461. **Кормило корабельное.** Водам полагает закон. Укрощает волны морские.

А в пояснениях Амбодик добавил, что руль (кормило) есть знак правления, верховной власти, царствования, мира, веры и благополучия, в государстве процветающем.

У Карамзина:

Блажен, кто с веющим Зефиром,
С любовью в сердце и в очах,
Летит на парусных крылах
К счастливой пристани, где с миром
Нас Гений тихой смерти ждет!¹⁰

В другом стихотворении:

Страна блаженная, святая!
Когда, когда тебя найду,

**И мирный брег благословляя,
Корабль в пристанище введу?¹¹**

Соединение изображения и слова для Карамзина очень значительно. Недаром он так беспокоится о виньетке к своему «Московскому журналу», к изданию «Писем русского путешественника» прикладывает объяснение гравированного титула: «ИЗЪЯСНЕНИЕ ВИНЬЕТА. Виньет срисован с одного антика и представляет Меркурия, как бога дорог, который стоит подле пирамиды и жезлом своим прикасается к лежащему на ней странническому посоху. В древние времена путешественники, возвратившись домой, посвящали жезлы свои Меркурию и клали их на пирамиды, означавшие в Греции расстояние одного места до другого, подобно нашим верстам. — Наверху изображалась масличная ветвь, в знак безопасности для странников».¹² Виньет стал илюстрацией, но знаком, вместе с эпитафией определяющим позицию автора «Писем русского путешественника».

Герой Карамзина — естественный человек на лоне мирной природы, он умеет любить и ценит дружбу, ему доставляет удовольствие чтение умных книг, беседа с мудрецами:

**Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно — менее страдать...¹³**

Любовь — не страсть, но спокойная тихая верная голубиная любовь. Герой мечтает жить там,

**Где тихо горлицы воркуют,
Друг дружку с нежностью милуют
И гнездышко себе на юных миртах выют.¹⁴**

У Амбодика: 300. Двоица голубей. Верный союз. Верность нас соединяет. В «Иконологии для художников» два голубя с распростертыми крыльями целующиеся знаменуют любовь, дружбу, супружескую верность. Два целующихся голубя — такой распространенный альбомный мотив, затасканный и опошленный уже в XIX веке. В Карамзинских стихах тоже чувствуется это пришепетывание уменьшительных суффиксов. Но сравните, как ироничен Карамзин в «Письмах русского путешественника», описывая свое посещение развалин римских терм в Париже на улице Арфы: «Тут жили французские цари Кловисова поколения; тут заключены были любезные дочери Карла Великого за их нежные слабости; тут, при королях второго поколения, знатные Париж-

ские дамы видались с своими обожателями; тут ныне выкармливают голубей для продажи. Кстати, подумал я: голубь есть Венерина птица».¹⁵ Голубь — символ святого духа, голубь — венерина птица, эмблема любви. Но эмблема любви и роза:

**Нам страшен младости покой
И тернием любезны розы!..**¹⁶

Стихотворение, из которого взяты эти строки, называется у Карамзина «К добродетели». И уже поэтому здесь скрытая полемика. Известно, что добродетель — роза без шипов (сказка Екатерины II о царевиче Хлоре и у Державина — обращение к Фелице, которая «открыла верные следы /Царевичу младому Хлору/ Взойти на ту высокую гору, /Где роза без шипов растет, /Где добродетель обитает...»/ Венком из роз коронуют осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку во французской деревне близ Парижа: «Мне сказали, что там с великою торжественностью будут короновать розами осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку: но какая горсть! нынешний год не было праздника...»¹⁷ Это не единственные розы в «Письмах русского путешественника». В парижском театре путешественник, очарованный прелестной незнакомкой, оказывается свидетелем следующего диалога:

«Кавалер св. Людовика. — Я только теперь заметил, что у вас на груди розы: вы их любите?»

Незнакомка: «Как не любить? оне служат эмблемою нашего пола».¹⁸

Озадаченный юноша так и не понял, что за женщина была в ложе и что означала роза на ее груди. Он не владеет культурным кодом французского общества и оказывается в достаточно неловком положении: «Кто она? благородная, почтенная, или... Какая мысль! Важные парижские дамы не говорят так вольно с незнакомыми; однако ж может быть исключение из правила».¹⁹

Французская аристократка, собираясь эмигрировать в Россию, задает Путешественнику вопросы: «Вопрос: Уважаете ли вы женщин? Ответ: У нас женщина на троне. Слава и любовь, лавр и роза, есть девиз наших рыцарей».²⁰ Здесь Карамзин прямо демонстрирует эмблематичность своего мышления. И — в «Иконологии для художников»: «15. **Любовное удовольствие.** Аллегория сего предмета представляет юношу приятного вида, щеголевато одетого и увенчанного

миртом. Стоит он на коленях перед сердцем посреди розового куста, коего розы и иглы знаменуют страдания и сладости любви. Действия украшения сердца гирляндою из свежих цветов есть изображение радости любовника, за удовольствие себе поставляющего украшать предмет своей любви».

Конечно, эти сопоставления меньше всего претендуют на роль указания источника, которым пользуется Карамзин. Мне хотелось предпринять попытку реконструировать семантическое пространство русской культуры конца XVIII века, ограничившись при этом конкретными ключевыми понятиями, легко переводимыми в зрительные образы и воспринимавшиеся современниками определенным «кодовым» образом.

...Когда ж узнал тебя;
Когда дрожащими руками
Обняв друг друга, все забыв —
двумя горящими сердцами
Союз священный заключив —
Мы небо на земле вкусили,
И вечность в миг один вместили;
Тогда, тогда любовь я в первый раз узнал...²¹

Пламенеющие сердца, соединенные вместе — это распространенный альбомный мотив, очень быстро превратившийся в пародию на самого себя. Но в 1788 году сборник эмблем еще предлагает целый ассортимент сердец: 470. **Увенчанное сердце на столбе.** За твердость и постоянство. 147. **Пламенеющее сердце, по волнам плавающее.** На успокоившихся волнах играет после бури и ненастья, восхищается. 216. **Пламенеющее сердце, между лилией и розой.** Красота, чистота, любовь. Непорочность любви есть откровенность и чистосердечие.

Однако к нашему случаю ближе подходят две другие эмблемы. 120. **Два пламенеющие сердца.** Да два едино будут. Пускай из двух будет единица. 218. **Два пламенеющие сердца.** Из двух единое. Любовь из двух сердец сделала единое.

Карамзин тонко чувствует аллегорию, и охотно дает свои расшифровки. В «Письмах русского путешественника» он описывал знаменитые памятники, которые осматривал во время своих странствий: «Против Опенгейма, на другой стороне Рейна, стоит высокая пирамида, а на ней лев, держащий в правой лапе большой меч. Шведский король, Густав Адольф, поставил сей памятник в 1631 году, перешедши с своею армией через Рейн, разбив гишпанцев и взяв Опенгейм».²²

Пирамида — символ вечности и правильности формы, изображение которой встречается на многих предметах мажонского ритуала, а лев — обычное изображение силы, широко использованное в геральдике. «Мне представляется громада черного мрамора, держаемая львами — это гроб герцога Рогана...»²³ В лютеранской церкви святого Томаса в Страсбурге Карамзин видел памятник маршалу графу Саксонскому работы скульптора Пигаля: «Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу, и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орел, в ужасе и смятении, изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный Гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносные знамена Франции». И тут же Карамзин делает замечания, отрицающее всю эту систему напряженной аллегоричности, требующей ее разгадывания: «Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству: по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры — на ту, на другую, на третью — и был так холоден, как мрамор».²⁴

В своем творчестве Карамзин делает установку на переживания человека, для него характерен отказ от прямого аллегоризма. Даже в «Сюжетах из русской истории» ни одного атрибута, скорее — положение, жест определяют позицию героя, его характеристику. В конце XVIII века соседствуют две системы — с одной стороны, эмблема и аллегория, которые по-прежнему находят свои «ниши» в структуре искусства, с другой — та поэтика, которую проповедует своим творчеством Карамзин. Новая поэтика Карамзина понятна современному читателю — она получила развитие в литературе XIX века, язык эмблем устарел и требует определенных знаний и усилий для его понимания. Амболик предлагал своим читателям хорошо потрудиться, чтобы изучить язык эмблем: «С помощью данных по сие место объяснений не трудно будет всякому иметь некоторое понятие о прочих иконологических изображениях, и собственным рассудком постигать означенная прочих эмблем и символов. Прилежное же чтение таковых книг, и тщательное (так!) о чтимом размышление откроют любопытному сокровенные тайны других

многих сим подобных начертаний; коих однакож совершенное знание токмо испытанным и довольно в таковом деле потрудившимся предоставлено».

- 1). Об этом см. Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века. Каталог выставки. Л., 1978 (вступительная статья М. А. Алексеевой); Четех И. Д. Корабль и флот в портретах Петра I. Риторическая культура и особенности эстетики русского корабля первой четверти XVIII века. //Отечественное и зарубежное искусство XVIII века. Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Выпуск 3. Ленинград: ЛГУ, 1986. С. 54—81.
- 2). Об этом: А. А. Морозов, Л. А. Софронова. Эмблематика и ее место в искусстве барокко. //Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. Москва: Наука, 1979. С. 13—38; Е. Г. Григорьева. Эмблема и сопредельные явления в семиотическом аспекте их функционирования. //Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам. т. XXI. Тарту: ТГУ, 1987. С. 78—88; М. Б. Ямпольский. К символике водопада. //Символ в системе культуры... С. 26—41.
- 3). Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. /Литературные памятники/. Л.: Наука, 1984. С. 193.
- 4). «Меланхолия. Подражание Деллию» (1800). Цитируется по изданию «Сочинения Карамзина», т. I, М., 1820. С. 215. В дальнейшем ссылки даются на это издание.
- 5). «Опытная Соломонова мудрость или мысли, выбранные из Эклезиаста» (1796) — Сочинения Карамзина, С. 9.
- 6). «Берег» (1803) — Сочинения Карамзина. С. 229.
- 7). Подробнее об этом в статье В. Новацкого и И. Уваровой «И плывет корабль» //журнал «Декоративное искусство», 1986 год. №№ 7—8, там же библиография на эту тему.
- 8) «Послание к женщинам» (1795) — Сочинения Карамзина. С. 106.
- 9). Там же. С. 106—107.
- 10). Там же. С. 107.
- 11) «Долина Исафатова или Долина Спокойствия» (1796) — Сочинения Карамзина, С. 133.
- 12). Карамзин. «Письма русского путешественника». С. 393.
- 13). «Послание к Дмитриеву» (1789) — Сочинения Карамзина. С. 42.
- 14). «Послание к женщинам» (1795) — Сочинения Карамзина. С. 105.
- 15). Карамзин. «Письма русского путешественника», С. 265.
- 16). «К добродетели» (1803) — Сочинения Карамзина, С. 232.
- 17). Карамзин. «Письма русского путешественника», С. 273.

- 18). Там же. С. 266.
- 19). Там же. С. 268.
- 20). Там же. С. 291.
- 21). «К неверной» (1796) — Сочинения Карамзина, С. 125.
- 22). Карамзин. «Письма русского путешественника», С. 92.
- 23). Там же. С. 178—179.
- 24). Там же. С. 95.

Н. И. Михайлова

КАРАМЗИН — ОРАТОР

«Милостивые государи!

Первым словом моим должна быть благодарность за честь, которой вы меня удостоили: честь делить с вами труды полезные...»¹ — так 5 декабря 1818 года Карамзин начал свою речь на торжественном собрании императорской Российской академии.

Сегодня, благодаря присутствующих за предоставленную честь делить с вами труды полезные — труды, посвященные изучению творческого наследия Карамзина, позволим себе сказать несколько слов о Карамзине-ораторе. Если Карамзин — реформатор русского литературного языка, поэт, прозаик, историк, давно вошел в мир научной литературы, то Карамзин — оратор, насколько нам известно, не привлекал специального внимания исследователей. Между тем, ораторская традиция, сказавшаяся в творчестве Карамзина, требует, на наш взгляд, самого пристального изучения и по тому содержанию, которое заключалось в его ораторском слове, и по тому мастерству, с которым владел он ораторским искусством, и по тому воздействию, которое имел он на слушателей.

Как известно, речь Карамзина в Российской академии стала событием в литературной и общественной жизни, и это не случайно. Карамзин затронул чрезвычайно важные литературные и общественно-политические вопросы. Он делился со слушателями своими сокровенными мыслями о путях русской литературы и критики, о их роли в жизни отдельного человека, о их роли в обществе и государстве. Карамзин утверждал идею просвещения, в котором видел и цель и саму возможность прогресса.

Присутствовавший на академическом собрании А. И. Тур-

генев 11 декабря 1811 г. сообщал в письме к П. А. Вяземскому о том, какое впечатление произвела речь Карамзина.

«Все было внимание, и он не произносил речь, но, кажется, как детей наставлял своих слушателей с чувством, которое отзывалось в душах наших и оживляло лица. /.../ Даже и сенаторы слушали с умилением». А. И. Тургенев обратил внимание на смелое для того времени выражение Карамзина: «ибо и власть самодержавцев имеет пределы».² А. И. Тургенев назвал это выражение дерзким, полагая, что подобные вещи вслух говорить опасно.

Речь Карамзина — высокий образец академического красноречия. Именно так оценивалась она в учебных красноречиях XIX в. «Она содержит новые, прекрасные мысли — драгоценный плод великого ума и тонкого вкуса, приобретенный и усовершенствованный долголетнею опытностью»,³ — писал о речи Карамзина в «Частной риторике» Н. Ф. Кошанский. Его учебник избавляет нас от необходимости анализировать композицию, риторические фигуры и украшения, которые мастерски использовал Карамзин в своей речи — этот анализ с достаточной полнотой представлен лицейским преподавателем Пушкина. В данном случае нам лишь хотелось бы обратить внимание на то, что «Частная риторика» Н. Ф. Кошанского — еще один ценный для нас документ, свидетельствующий о восприятии и оценке речи Карамзина его современником. Так, Н. Ф. Кошанский отмечает ясность и точность карамзинского слога, подчеркивает особенно драгоценные мысли Карамзина о критике. «Иногда чувствительность бывает без дарований, но дарование не бывает без чувствительности», — говорит Карамзин. «Вот редкое знание человеческого сердца!»⁴ — восклицает Н. Ф. Кошанский. «Пусть низкое самолюбие утешает себя нескромным осуждением в надежде возвыситься унижением других: но Вам известно, что самый легкий ум находит несовершенства, что только ум превосходный открывает бессмертные красоты в сочинениях», — рассуждает Карамзин. «Юные таланты! — обращается педагог Н. Ф. Кошанский к своим читателям. — Ободритесь, читая строгие себе приговоры, и вспомните сии слова, которые говорит вам опытная мудрость устами Карамзина».⁵ Н. Ф. Кошанский полагает, что «достойны примечания» мысли Карамзина о гении, «драгоценны» его слова о злоупотреблении таланта. «Низкие страсти, — говорит Карамзин, — унижают, охлаждают дарование; пламень его есть пламень

добродетели». «Внимайте, юные таланты! — пишет Н. Ф. Кошанский, — сии мысли достойны быть начертаны золотыми буквами». ⁶ Анализируя заключение карамзинской речи, где «оратор говорит, что словесность возвышает нравственное достоинство государств и желает, чтобы слава России была славою человечества», Н. Ф. Кошанский обращает внимание на «разительные мысли», высказанные Карамзиным. «И жизнь наша, — утверждает Карамзин, — жизнь Империи должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой». «Вот высокая мысль!» ⁷ — восклицает Н. Ф. Кошанский.

Заметим, что Карамзин-оратор тщательно готовился к своему выступлению в Российской академии, дважды перед этим произносил свою речь перед арзамасцами.

Карамзин высоко ценил ораторское слово, его возможности воздействовать на умы и сердца людей. Воспитанный на классических образцах античного красноречия, Карамзин переводил речи Демосфена для задуманного им в 1798 г. издания «Пантеон» — речи эти, по мнению Карамзина, могли бы украсить это издание. ⁸ Сравнение с Цицероном было для Карамзина высшей похвалой — даже танцовщика Вестриса назвал он «в своем роде Цицероном». ⁹ Знарок европейского красноречия, писатель особенно отличал бессмертного Босюэ, который, по его словам, «гремел священным гласом веры, совлекал блестящие покровы с суетного величия, обнажал ничтожность мирских идолов, унижал гордыню, но возвышал душу откровениями неба». ¹⁰ Карамзину было хорошо известно красноречие древней Руси. Читая летопись, он восхищался речами русских князей. Сохранились суждения Карамзина о русских ораторах XVIII в. — Феофане Прокоповиче, в речах которого «рассеяно множество цветов красноречия», ¹¹ епископе Гедоне, проповеди которого «славны и достойны того», ¹² Ломоносове — «отце российского красноречия». ¹³ Наконец, Карамзин жил в эпоху высокой ораторской культуры. Во время заграничного путешествия он слушал речи французской академии, посещал национальное собрание, где внимал речам Мирабо, побывал в английском парламенте. В России сама жизнь знакомила его с современными ему памятниками военного, церковного, академического, торжественного красноречия. Все это необходимо учесть, изучая ораторскую традицию в творчестве Карамзина.

Карамзин-оратор — не только автор речи в Российской академии, не только автор «Похвального слова Екатерине II», также, заметим, тщательно разобранный в «Частной реторике» Н. Ф. Кошанского. Карамзин-оратор дает о себе знать и в поэзии, и в прозе, и в «Истории государства Российского»; недаром, Н. Ф. Кошанский назвал его «красноречивейшим писателем и историком».

Если говорить о поэзии Карамзина, то, думается, риторическая традиция сказалась не только в одическом жанре — жанре, по природе своей ораторском, но и в других стихотворениях, изобилующих риторическими украшениями.

Риторична проза Карамзина. Риторически организованы нравственные и политические рассуждения в «Письмах русского путешественника». Риторичны монологи Лизы и авторские отступления в повести «Бедная Лиза» — здесь Карамзин использует выразительные возможности ораторского искусства для раскрытия высоких чувств, утверждения нравственных истин. Уже в 1819 г. Н. Д. Иванчин-Писарев справедливо указал на ораторский слог в «Марфе-Посаднице». При этом небезынтересно отметить, что в этой повести Карамзин не только заставляет Марфу произносить ораторские речи перед народом — он подчеркивает еще и значимость жеста оратора: «Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород-государь наш! Война, война Иоанну!».

Риторична критика и публицистика Карамзина — риторика здесь подчинена задачам критики и публицистики. Позволим себе привести один из возможных примеров.

«Стерн несравненный! В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?» — так начиналась заметка Карамзина о Стерне. Исчисляя достоинства Стерна, Карамзин использует риторические приемы обращения, единоначатия, вопрошения. В приведенном рассуждении любопытно само по себе и упоминание реторики, открывающей, по мнению Карамзина, «тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших».

«История Государства Российского», главный труд Карамзина, написан и ораторским слогом. Еще в «Письмах русского путешественника», размышляя о том, каким должно быть историческое сочинение, Карамзин признавал: «Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием».¹⁶ Можно по справедливости сказать, что «История государства Российского» и явился тем историческим сочинением, которое писано с философским умом, с критикой, с благородным красноречием.

Благородное красноречие Карамзина в полной мере оценили и его читатели, и его слушатели — Карамзин, как известно, выступал в Российской академии с публичным чтением отрывков из «Истории». Откликаясь на первое чтение в 1820 г., «Сын Отечества» поместил информацию В. Н. Карамзина, в которой отмечалось: «Слушатели были умилены и восхищены чертами великого характера россиян, сильно представленными глубокомысленным, красноречивым оратором».¹⁷ Будущий митрополит московский Филарет (он присутствовал на чтении 8 января 1820 г.), ужаснувшись рассказу Карамзина о Иване Грозном — «читаемое страшно», вместе с тем признавал: «читающий и чтение были привлекательны».¹⁸ Будущий декабрист А. И. Одоевский, прослушав отрывки из десятого тома в Российской академии, полагал, что описание характера Годунова «может быть, красноречивейшее во всей нашей словесности».¹⁹ С Карамзиным можно было соглашаться или не соглашаться. Декабристы с ним не сглашались, но и они признавали убедительность, силу его красноречия, «заманчивость его рассказа».

Ораторское слово пронизывает «Историю государства Российского», является одной из существенных особенностей ее поэтики.

Раскроем XI том «Истории государства Российского». Рассказав о кончине Бориса Годунова, Карамзин завершает свой рассказ ораторской речью:

«Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произноситься с омерзением, во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место, обгащенное кровью повинных, св. Димитрия, издыхающего под ножом убийц, ге-

роя псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных тёмницах и келиях; видит гнусную мзду, рукою венценосца предлагаемую клеветникам-доносителям; видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и богом. Везде личина добродетели, и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здоровой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, не злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совестников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время высил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного — предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на феатр сонм мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?»²⁰

В этой речи все риторические приемы — вопрошенне, контрасты, исчисления, живописные картины, в которых благодаря грамматической форме настоящего времени события прошлого как бы совершаются перед нашими глазами — все подчинено тому историческому и нравственному уроку, который Карамзин-историк, гражданин и оратор преподает современникам и нам, его потомкам. Нельзя не согласиться с немецким историком А. Г. Герееном, который уже в 1822 г. справедливо указал на то, что Карамзин поставил своей задачей не просто утвердить историческую истину, но проповедовать высокие нравственные и политические идеи, «коими наполнена собственная душа его».²¹

**На рубеже веков наш с предками посредник
Заветов опыта потомкам проповедник — 22**

писал о Карамзине — авторе «Истории государства Российского» П. А. Вяземский. Слава Карамзина-историка — это и слава проповедника, слава оратора.

В речи на торжественном собрании в Российской академии Карамзин сказал: «Мы желали бы из самого гроба дей-

ствовать на людей, подобно невидимым добрым гениям, по смерти своей еще иметь друзей на земле».²³ Комментируя это суждение Карамзина, Кошанский восклицал: «Пусть утешится тень оратора! Его добрый Гений действует из самого гроба, и долго-долго будет иметь друзей на земле!».²⁴ Этими словами Кошанского мы и завершим наше скромное выступление, посвященное Карамзину-оратору.

- 1) Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т.т. Т. 2., Л., 1937. С. 169.
- 2) Остафьевский архив. Спб., 1839. Т. 1. С. 167—168.
- 3) Кошанский Н. Частная риторика. Изд. 4-е. Спб., 1837. С. 109—110.
- 4) Там же. С. 111.
- 5) Там же. С. 112—113.
- 6) Там же. С. 112.
- 7) Там же, С. 114.
- 8) См. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866, С. 97.
- 9) См. Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т.т. Т. 1., Л., 1934. С. 320.
- 10) Там же, Т. 2, С. 175.
- 11) Там же, С. 103.
- 12) Там же, С. 109.
- 13) Там же, С. 110.
- 14) Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т.т. Т. 1., Л., 1934. С. 554.
- 15) Там же. Т. 2. С. 37.
- 16) Там же. Т. 1. С. 344.
- 17) Сын Отечества. 1820, № 5, С. 231—232.
- 18) Письма Н. М. Карамзина к П. А. Вяземскому, Спб., 1897, С. 193.
- 19) Русская старина. 1904, № 2, С. 375.
- 20) Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т.т. Т. 2, Л., 1934. С. 387.
- 21) Северный архив. 1822. ч. 4., С. 486.
- 22) Вяземский П. А. Сочинения в 2-х т.т. Т. 1., М., 1982. С. 117.
- 23) Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х т.т. Т. 2., Л., 1934. С. 174.
- 24) Кошанский Н. Частная риторика. Изд. 4-е., Спб., 1837. С. 113.

А. В. Михайлов.

КАРАМЗИН И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Теснейшее отношение Н. М. Карамзина к немецкой литературе прекрасно известно; писатель видел свое призвание в том, чтобы соединить русское общество с литературным и культурным Западом, такой цели он в общем и целом безусловно и достиг, как литератор и издатель, но во всех его связях с Западом Германии была отведена особая роль, и отношение к ней было наиболее интимно. Говоря сейчас о Германии, я имею в виду весь немецкоязычный культурный мир, и это очень важно, так как оказывается, что в интересах Н. М. Карамзина особое место занимали швейцарские поэты и писатели, и как раз в этом обстоятельстве сказались исключительное интимно-близкое знание всей немецкоязычной литературы XVIII в.,—Карамзин отдавал себе весьма точный отчет в том, какое значение для всей немецкой культуры имела деятельность сначала цюрихского общественно-го деятеля и писателя Иоганна Якоба Бодмера (1698—1783), а затем, во второй половине века, другого цюрихского деятеля, богослова и писателя «физиогномиста» Иоганна Каспара Лафатера (1741—1801).

После исследования Ю. М. Лотмана и Б.А. Успенского мы уже привыкли смотреть на «Письма русского путешественника» Карамзина не как на непосредственные дневниковые записи писателя, пусть даже и переработанные, но как на книгу — «конструкцию», которая, следовательно, целенаправленно строит себя, при этом перестраивает (т. е., собственно, реконструирует) все путешествие в его эмпирическом протекании, а затем уже результату этой перестройки придает некоторую (вторичную) видимость непосредственно дневниковых записей. Это так, и «Письма русского путешественника» вполне «естественно» располагаются в некотором риторически осмысленном литературном пространстве

между дневниками и вымышленными путешествиями; жанр последних выразительно представлен немецким современником Карамзина Моррицом Августом фон Тюммелем с его «Путешествием в полдневные области Франции» (1791 — 1805). Хотя карамзинские «Письма» и есть конструкция, невозможно отрицать того, что в Европу Карамзин отправился с богатым запасом сведений о западных литературах; его переписка с Лафатером предшествовала путешествию, и в круге знакомства Карамзина было немало лиц, способных доставить ему доскональное знание европейских литератур в их современном состоянии. Когда Карамзин прибывает в Берлин, он знает, к кому ему следует обратиться, исполняя общепринятый в то время ритуал посещения знаменитых писателей и профессоров, и Карамзин наносит визит Карлу Филиппу Морицу (1756—1793), безвременно скончавшемуся вскоре после этого немецкому писателю и эстету, вклад которого в немецкую культуру по-настоящему осознан только ближе к нашим дням. Карамзин не только навещает Морица, но своей записью об этом посещении создает, кажется, лучшее, что было до сих пор написано о Морице на русском языке,¹ — нечто впечатляющее, а также даже и «информативное» в обычном теперь понимании такого слова. Нам тут есть за что похвалить и поблагодарить Н. М. Карамзина, а вместе с тем можно подивиться парадоксу, сопряженному, наверное, со всей просветительской работой Карамзина, неутомимо знакомящего русских читателей с литературой Запада, — живые творческие побуждения, которые исходят от него и которые мы чувствуем даже теперь, перечитывая «Письма русского путешественника», как бы не имеют продолжения и по каким-то причинам гаснут: в русской культуре Мориц и поныне известен так же мало, как и в конце XIX в. — ни его роман с автобиографической подкладкой «Антон Рейзер», ни его опыты психологической публикации на русский язык не переводились, а замечательный трактат «О пластическом подражании прекрасному» известен едва ли не по переводу «Итальянского путешествия» Гете, где он цитируется целыми страницами, однако без какого-либо исчерпания всего содержательного богатства этой небольшой книги, написанной сжато и густо. Получается тогда, что и содержание карамзинских «Писем» тоже все еще не исчерпано, и мы, по прошествии двухсот лет, можем вполне воспринять из его текста известные подсказки, кото-

рые за два века не удосужился подхватить никто. Труды Н. М. Карамзина были, выходит, в высшей степени полезны. Но в очень и очень многом остались без ответа — без ответа и без продолжения, какое, казалось бы, разумелось тут само собою. Такова судьба этого замечательного создания Н. М. Карамзина, — читавшееся на протяжении всего разделяющего нас с ним времени далеко не одинаково усердно, оно к своему двухсотлетию обрело черты новой свежести и достигло своей второй читаемости и как бы актуальности.

Меру настоящей осведомленности Карамзина относительно немецкой литературы можно оценить, перечитывая следующий отрывок из «Писем русского путешественника»:

«С отменным удовольствием подъезжал я к Цюриху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро, и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его **Германе**; где Бодмер собирал черты для картин своей Ноахиды, и питался духом времен Патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с Музами, и мечтали для потомства; где Фридрих Штолберг, сквозь туман двадцати девяти веков, видел в духе своем древнейшего из творцов Греческих, певца богов и Героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного, и песнями своими восхищающего Греческое юношество — видел, внимал, и в верном отзыве повторял песни его на языке Тевтонов; где наш Л* бродил с любовною своею грустию, и всякий цветочник со вздохом посвящал Веймарской своей богине. —”²

И этот отрывок из текста «Писем», по нашему убеждению, продуманно сконструирован, а между тем он отражает взгляд Карамзина на новую немецкую литературу, взгляд в естественной для него перспективе, притом взгляд *изнутри* этой литературы с ее развитием, литературы хорошо им освоенной и усвоенной. Степень такой освоенности проясняется при некотором всматривании в этот отрывок.

Прежде всего у отрывка есть нечто подобное рамке. Сначала Карамзин упоминает Саломона Геснера (1730—1788),

писателя и художника, в свое время пользовавшегося европейской известностью в качестве автора пасторалей, ~~це-~~нившегося во Франции не меньше, если не больше, чем в Германии, а впоследствии довольно основательно забытого после падения всей риторической системы искусства, ее жанров и ее условностей. Для Карамзина же Гесснер не имел слушком большого значения, и он называет его первым отнюдь не за его первостепенность. Зато названный последним «Л*» мало связан с Цюрихом, но тем более памятен русскому писателю, — это несчастный Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751—1792), ценимый более историками немецкой литературы в наши дни, чем во времена Карамзина, а в конце XVIII в. и в XIX в. более известный и интересный как автор из веймарского круга молодого Гете, — ломкий и нежизнеспособный, он, не удержавшись и в этом кругу, последние годы жизни скитался и, оказавшись в России, умер на московской улице. В «Письмах» Карамзин уже пишет о нем в прошедшем времени. Ленц, как и Геснер, выбран для «рамки» просто потому, что имена писателей, помещенные внутри рамки, для Карамзина образуют, очевидно, узел неразрывных связей. Это Фридрих Готлоб Клопшток (1744 — 1803), уже названный Бодмер, Кристоф Мартин Виланд (1733 — 1813), Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832) и граф Фридрих Леопольд фон Штольберг (1750 — 1819). Отчасти это писатели разных поколений, коль скоро в этот узел, в его середину, попадает и престарелый, уже покойный И. Я. Бодмер. То же, что говорит Карамзин обо всех этих писателях, и тот порядок, в каком он их располагает, определяется перспективой, в которой он видит их.

Однако, взглядываясь в этот отрывок карамзинского текста, нам стоит найти в нем место точности, не поддаваясь возможному впечатлению неопределенности во всем риторическом периоде. Верно, что Карамзин склонен прибегать к формулам сентиментально-риторического языка, к оборотам речи весьма прекраснородушным и скорее облекающим вещи красивым туманом, от какого не потребуешь отчетливости. Гесснер «рвал цветы», а Бодмер, притом не где-нибудь, но в большом швейцарском городе «собирал черты» для библейского эпоса «Ноахида» (хотя где еще было ему их собирать, как не в городе, в котором он твердо сидел всю свою жизнь?!). Виланд же и Гете «обнимались с Музами» — словосочетание, попросту скалькированное с французского и

настолько общее, что тут никакого значения не придается даже и тому обстоятельству, что Виланд и Гете обнимались с Музами не одновременно, а совсем даже в разные десятилетия; они же и «мечтали для потомства», обнимаясь, и, видимо, мечтали совсем на один и тот же лад, — велика ли цена всему этому?

Но в тексте есть своя особая точность, и Карамзин, стремясь к предельному лаконизму, — надо, подъезжая к Цюриху, дать ясную картину его литературных дел, — следует логике такой точности. У Карамзина не сказано прямо, но подразумевается его текстом, что Клопшток с его «великими идеями о священной любви к отечеству» был вдохновлен Бодмером. Это так и было, коль скоро Бодмер и его друг и соратник И. Я. Брейтингер, умерший раньше, выступили для всей немецкой культуры ревнителями эстетики **возвышенного**, импульсы которой они собирали и находили и в мысли современных Англии и Италии, и в творчестве Джона Мильтона, позднее и в новооткрытой «Песни о нибелунгах», и во всей традиции, начиная с трактата «О возвышенном», приписывавшемся Лонгину (I в.). Во всей этой эстетике возвышенного была заложена антиклассицистская тенденция, которая и обеспечила критическим трудам Бодмера и Брейтингера долгое и широкое влияние — в Германии по крайней мере до 1770—1780-х годов, опосредованно же и позднее (возвышенный строй поэзии Ф. Гельдерлина находится во все той же струе), а в Англии даже и позднее, если принять во внимание, что такой эстетике следовал в своем творчестве Иоганн Генрих Фюссли, живописец (отчасти и поэт), верный заветам Бодмера, — переименованный в Англии в «Фюзели», он дожил до 1825 г. Национальные идеалы были присущи бодмеровской эстетике возвышенного, и пробуждение национального сознания совершалось в Германии под знаком все того же возвышенного. Они и воплотились в «Германе» Клопштока, т. е. в написанных под известным воздействием Бодмера драмах особого статистического жанра — в «бардите» «Битва Германа» (1769) и в последовавших за нею «Германе и князьях» (1784) и «Кончине Германа» (1787). Для Карамзина все это новая литература, и «Герман» Клопштока для него, видимо, ближе, нежели прославивший Клопштока эпос «Мессия», начатый тем еще в 1748 г., когда из печати вышли три первые его песни, и полностью изданный в 1780 г. Пораженный новым

тоном Клопштока, Бодмер пригласил его в Цюрих, где немецкий поэт провел примерно полгода (1750—1751), разочаровав педантичного мэтра критики своим юношеским поведением. Однако, Бодмер, не знавший юности — кроме как в выпрєнных восхищениях к неземному, отнюдь не разочаровался в «Мессии» и, поэт, возбуждавшийся к творчеству образцами или полемическим несогласием, приступил к созданию своего собственного библейского эпоса—«Ноахиды», обреченный уже и тогда на насмешки и «нечитанье» (довольно мало читался ведь и признанный классическим «Мессия» Клопштока). Оба поэта мыслятся Карамзиным как взаимозависимые. Но в такой же зависимости от Бодмера, что и вдохновленный им Клопшток, находятся и Виланд, и Штольберг, — так это, очевидно, и представляет себе Карамзин, хотя, возможно, это не сразу видно в тексте: и молодой Виланд был приглашен в Цюрих Бодмером, он провел почти два года (с октября 1752 по июнь 1754 г.) в доме Бодмера, где предавался все той же экзальтации в стихах и в прозе и где, между прочим, создал целую книгу в похвалу «Ноахиде»; впрочем, этот бодмеровский период творчества Виланда отошел в прошлое вместе с его молодостью, а потому Карамзин вполне логично и не называет в связи именно с Цюрихом никакого отдельного сочинения Виланда, — хотя тот и оставался в Цюрихе почти до конца 1750-х годов, ни одно из наиболее известных и показательных созданий Виланда невозможно было связывать с Цюрихом.

Волны эстетики возвышенного докатились и до немецкого «штюрмерства» 1770-х годов, и до основанного тогда же дружеского поэтического объединения «Геттингенская роща», из которой, как поэт и писатель, и вышел граф Ф. Л. Штольберг. Его перевод «Илиады» вышел в свет в 1778 г., и, что замечательно, он был издан Иоганном Генрихом Фоссом, который в 1781 г. выпустил свой перевод «Одиссеи», а в 1793 г. — «Илиады» Гомера; перевод Фосса, сопровождавшийся реформой и решительным устранением немецкого гекзаметра стал для немецкой культуры **основным** переводом Гомера — таким же классическим, что и переводы Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского для русской литературы, с той только разницей, что за переводом Фосса последовало еще несколько десятков (!) немецких переводов поэм Гомера, известных или неизвестных, отличавшихся достоинствами или лишенных таковых. Переводу Штольберга в немецкой литерату-

ре предшествовали попытки переводить Гомера рифмованными стихами и иным размером, — в Германии происходило абсолютно то же самое, что и в русской литературе XVIII в. Перевод Штольберга был первым полным переводом «Илиады» немецкими гекзаметрами, — однако, весьма знаменательным образом он вышел в один год с полным переводом Гомера, и тоже гекзаметрами, принадлежащим Бодмеру. Старик Бодмер трудился над своим переводом с самой середины века, не испытывая — в отличие от других немецких поэтов — какого-либо искушения передавать стих Гомера иным размером и в этом отношении в очередной раз доказывая свою поэтическую прозорливость, — свойство, в этом случае дарованное скорее критически рефлектирующей, нежели поэтически-творческой натуре. В глазах же Карамзина перевод молодого северогерманского поэта Штольберга должен был так или иначе немедленно вытеснить перевод старого швейцарца Бодмера, значительно более архаический по языку и слогу. Так для Гете этот же Бодмер был представителем совершенно уже отжившей культуры и живым памятником самому себе. А одновременно Штольберг зависим от Бодмера — как внук от деда; Штольберг — это уже третье поколение, послушное той эстетике возвышенного, какую столь успешно проповедовал Бодмер: Бодмер — Кюпшток — Штольберг. Хотя вечно полемически настроенный Бодмер заявлял в конце жизни и протесты против засилья Гомера в немецкой культуре, — и это почти одновременно с изданием своего собственного перевода Гомера! — роль Гомера в его кругу невозможно переоценить. Как праотец поэтов, Гомер определяет самую атмосферу этого круга. Наилучшим образом это доказывает — или показывает — И. Г. Фюссли, когда пишет картину (1767), на которой изображает беседующими Бодмера и самого себя: между ними и над ними, нависая словно фантом пророка, наделенный своей несусветной реальностью, вырастает гигантская голова Гомера, своими слепыми очами пронизывающая пространства и времена. Это очень яркая по своему смыслу картина. Ясно, что оба собеседника рассуждают о Гомере, а греческий поэт и сильнее, и изначальное их. Сама эта картина воплощает эстетику возвышенного. Совершенно понятно и то, что для Карамзина вся генеалогия немецкой поэзии XVIII в. была ясна. Далекое обо всем, что он знал о немецкой литературе, он успел на-

писать — или собирался писать. Кое-что из этого ненаписанного еще можно разобрать между строк.

Несколько печально, что несмотря на весь европеизм Карамзина, несмотря на издававшиеся им журналы, его уровень знаний о литературах тогдашней Европы не был передан широкому культурному сознанию России. Он не был передан или не передался — так или иначе: знание европейских литератур в 1800—1810-е годы в России решительно отстает от той доскональности и подробности, в каких эти литературы, и в частности литература немецкая, были доступны Карамзину. Иногда приходится читать о том, что антинаполеоновские походы русской армии в Западную Европу способствовали ознакомлению хотя бы образованной части армии с ее культурой. Когда читаешь русские критические статьи даже 1820-х годов, убеждаешься в том, что, видимо, это было не так: западная литература хотя и хлынула в 1820-е годы в Россию, но это был, пожалуй, хаотический поначалу поток, в котором смешивались имена, этапы развития литературы, сама последовательность и хронология явлений. Словно и не было базы знаний, на которую падал этот поток; лишь очень постепенно в представлениях отстает от той доскональности и подробности, в каких. Еще был жив Н. М. Карамзин, занятый «Историей государства Российского», а между тем его просветительские усилия словно пропали втуне, и потребовались новые труды для того, чтобы в сознании утвердилось и то, что давно уже изведано и освоено сам Карамзин, — словно бы и не читались или читались без внимания все эти годы его «Письма русского путешественника».

-
1. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984., С. 45—47.
 2. Там же, С. 106.

Н. К. Телетова

Ф. М. КЛИНГЕР И КАРАМЗИН

Сближение двух этих имен естественным образом вызывает представление о диалоге, общении, единообразии.

Однако темпераменты, мировоззрения, жизненный опыт их различны, быть может противоположны. И, при этом, они родственны друг другу в главном — принадлежности к одному направлению в искусстве — сентиментализму. Они стоят по краям того обширного поля, многообразного во всех отношениях, которое, однако, представляет собой единый мир, а потому их содержание представляет возможность фиксации крайностей этого краткого и весьма продуктивного направления конца XVIII века.

Два века господства рационализма — 17 в., классицизм, и 18 в., просветительство, — подходили к концу. Все предвещало коренную переориентацию творящей личности на первенство эмоционального, чувствительного начала над рациональным, прозванным теперь рассудочным и даже расчётливым.

Первой в недрах просветительства взбунтовалась за права душевности и сердечности Англия. Три поэта обозначили новую эпоху — еще в I половине XVIII века. Это были Томсон, Грей и Янг. Эдварду Янгу принадлежит и эссе, имевшее значение манифеста — «Размышления о самобытном сочинении» 1759 г., в котором он на старости лет теоретически закрепил первенство свободного вдохновенного творчества над ограниченностью нормативного, рационального.

«Правила суть костыли, которые для хромого необходимы, но они удерживают ход крепкого и здорового человека». ¹
«В сочинении слишком умерять свой жар и обуздывать свою предприимчивость есть истинное злодейство, есть погубление даров творческих». ²

Следование безыскусной природе, утверждает Янг, есть условие, при котором появляется талантливое творение.

Немецкий литературовед Х.-А. Корф скажет о начавшемся периоде (70-е гг. в Германии), времени юного Гете: «подлинное искусство должно стать не культурой, но натурой. Не высокая духовная культура, но могучая внутренняя жизнь должна сделаться главенствующей для поэтов».³ Источник творчества — интуиция.

Поворот к этому новому происходил как под воздействием настроений, коренившихся в обществе, так и под влиянием философии Джорджа Беркли и Дэвида Юма.

Парадоксальная философия Беркли не только переносила человека в мир эмпирики, но и отрицала внеэпытный характер окружающего. Мир открывается человеку только через его органы чувств, его ощущения. Лишь их данные представляют безусловную реальность. В 1710 г. он публикует «Трактат о принципах человеческого знания», где пишет: «Объект и ощущение одно и то же... Их бытие состоит в том, чтобы быть воспринимаемым».⁴ «Идеи, запечатленные творцом природы в ощущениях, называются действительными вещами».⁵ Материальная субстанция есть «комбинация чувствительных качеств».⁶

Таким образом вся полнота мира как бы сосредоточивается в пяти органах чувств человека, в комбинациях ощущений, ими предоставляемых.

Идеи Беркли развивает Юм. В «Трактате о человеческой природе» (1738 г.) он подменяет берклианское определение «ощущений» суммарным понятием «впечатлений» (perceptions), «источником которых являются чувства (senses)».⁷ причем Юм утверждает, что «всегда останется невозможным решить с достоверностью, происходят ли эти впечатления непосредственно от объекта, порождаются ли они творческой силой ума или же обязаны своим происхождением творцу нашего бытия».⁸

Материальный мир вне нас отрицается, его наличие или отсутствие недоказуемы. Отсюда центр человеческого интереса перемещается в область наших ощущений, их соединений, отражающихся во впечатлениях. «Чувство поставляет образы для памяти. Последние становятся объектами, над которыми работает воображение. Рассудок рассматривает и судит результаты работы воображения. А эти действия рас-

судка становятся новыми объектами разума».⁹ На этой лестнице каждая низшая способность является ступенью, ведущей к способности, стоящей над ней. А самая «высшая ведет к божеству».¹⁰ Но «Бог желает, чтобы те вещи, которые ранее были известны только ему, стали восприниматься и другими».¹¹ — пишет Беркли.

В возникающем замкнутом круге ключевыми оказываются ощущения — чувства — восприятия. Так в Англии уже в I пол. XVIII в. ценностный акцент с разума перемещается на эмоции, рациональное начинает отесняться сенсуальным.

Для искусства первенство чувствующего начала обретает нравственное осмысление: только открытый сердцем, душевный человек благороден; только он может быть поэтом (в широком смысле слова).

Так рождается сентиментализм, направление, господствовавшее в среднем 15—25 лет.

В Англии — после Беркли и Юма и поэзии Томсона, Янга, Грея — это прозаики II половины XVIII в.: Стерн, Гольдсмит, отчасти и предшествовавший им Ричардсон.

Во Франции это 60-е и — 80-е годы: Ж.-Ж. Руссо, Б. де Сен-Пьер, Л.-С. Мерсье.

В Германии — это 70-е—начало 80-х годов: молодые Гете, Ленц, Клинггер, затем юный Шиллер.

В России — после некоторых влияний сентиментализма на Хераскова — господствующим делается это направление к концу 80-х и проявляется особенно ярко в начале 90-х. Наиболее крупными его представителями являются Радищев и Карамзин.

Следует отметить, что сентиментализм, хотя и вполне самостоятельное направление в искусстве, в силу временной своей краткости обладает некоторыми свойствами направлений, ему предшествовавшего и за ним следующего.

От просветительства ему достался дидактизм, обращенность к власти имущим, способным изменить жизнь зависящих от них людей в лучшую сторону. В то же время стремление пробудить отзывчивость, сочувливость, чувствительность сближает это направление с последующим романтизмом.

Сентиментализм подготавливает романтизм, хотя в европейских литературах сами творцы его никогда не переходят в лагерь романтиков. Исключение представляет, по-видимому, В. А. Жуковский, завершавший русский сентиментализм и начинавший новое направление — с перерастанием чувствительного и элегического в иррациональное и экзотическое.

Сентиментализм порождает новые горизонты литературы. Нормативно-нивелирующему искусству классицизма и просветительства на смену приходит свободное индивидуально-неповторимое. Рождается небывалая раскованность формы. Появляется роман-дневник («Вертер» Гете, 1774 г.), роман в письмах («Новая Элоиза» Руссо, 1769), заявляет о себе драматургия, забывшая о трех единствах, непрерывной борьбе чувств милосердных (*caritas*) и страстных (*amor*) с победою первых, обязательной для благородного героя.

С 70-х годов, когда юный Гете возрождает традицию шекспировых исторических хроник в своем «Гётце» (1772), а Клинггер пишет «Двойников» (1776 г.), где прокламирует права естества, *Pflichten der Natur*, начинается новый театр.

Однако внутри сентиментализма образуются две ветви — вне зависимости от национальных границ. Это театр «бурных гениев» (немецкий термин, передающий **не меру** одаренности, но иной, божественный ее источник, когда творец лишь проговаривает дарованное ему свыше), буйного высвобождения энергий протеста, часто асоциальных, натуральных, — и лирического, мечтательного варианта как драматургии, так и поэзии.

Эта антитеза темпераментов часто имеет политический характер, хотя, скорее всего, последнее обстоятельство является следствием, а не причиной. Так возникает противоборство Ленца и Клингера. Первый прежде всего поэт, потом уже драматург. Второй — драматург по преимуществу, сохраняющий заряд экспрессии, а иногда и форму напряженного диалога даже в своей прозе зрелых лет.

Ленц, по бедности и неприкаянности в 1780-м году переселяется в Москву, где позже впадает в тихое безумие и умирает в 1792 году на 42-м году жизни. В Москве он много общается с Карамзиным, которому импонирует лирический, созерцательный характер творчества и природы немецкого поэта.

Клингера, в том же 1780-м году приехавший в Петербург, тоже знаком Карамзину. В «Письмах русского путешественника» имя его Карамзин ставит в число четырех главных реформаторов немецкого театра — Лессинг, Гете, Клингер, Шиллер. Однако при переиздании «Писем...» Клингера из этой группы исключает: он много менее популярен, его драматургическая продуктивность иссякает ко времени написания «Писем...» (1791 г.), а проза находится в стадии становления.

Бунтарский заряд Клингера — «немецкого Вольтера», как его называют в XX веке, — был чужд лирической натуре Карамзина.

Если Гете вбирает в себя оба начала — лиризм Ленца и энергию Клингера, то Карамзину это не свойственно.

Сам жанр путешествий (романов и описаний, не поддающихся отнесению к традиционным повествованиям), столь важный в литературе сентиментализма, распадается на те же две ветви — лирическую и экспрессивную. Первая зачинается еще в 1784 г. Лоренсом Стерном, давшим через название своего творения наименование всему направлению — «Сентиментальное путешествие». Путешествие рождает впечатления, а впечатления порождают чувства. Здесь и происходит размежевание.

В 90-е г. XVIII в. Клингер пишет восемь романов, где герои преодолевают пространство и время со сказочной, подчеркнуто неправдоподобной легкостью, ибо внешние впечатления лишь условная зацепки для страстных тирад их создателя. Назовем первый роман, дважды изданный по-русски (в 1913 и 1961 годах), имевший несколько скандальный успех — 4 издания в течение 10 первых лет после его появления: это «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» 1790 года, где Фауст и Левиафан (дьявол) перемещаются в одном 15-м столетии из страны в страну, из города в город с волшебной скоростью, наблюдая жестокость, продажность и глупость нескольких высших сословий.

Путешествие здесь столь же условно, сколь условно передвижение персонажей «Философских повестей» Вольтера. Этот роман представляет великую конденсацию чувств и размышлений Клингера.

В тот же год появится «Путешествие» Радищева, где топография лишь припиливает к тому или иному месту пороки крепостничества.

И всего через год явятся письма о путешествии Карамзина, соединившие в себе два жанра 18-го века — роман-путешествие и роман-эпистола (роман в письмах), приближенный и к третьему «подвиду» — дневника. Созерцательность, сердечная восторженность и чувствительность говорят о традиции Стерна и Руссо.

Иное у Клингера. Его горячая непримиримость со злом сближает его с Радищевым, а более всего — с его же ранней драматургией, в которой восклицательность речи, экспрессия героев уступили теперь место внутреннему бунту, внешне спокойному повествованию, но это лишь поверхность его богоборчества.

Таков его Фауст в монологе: «Я восстал против того, кто сильнее меня. О, прекрасный мир, в котором слепого, угнетенного человека учат мудрости только муки его собственного сердца, горестные вопли несчастных, победные гимны тиранов и общее опустошение и разорение, мир, в котором он не видит ничего, кроме неодолимой тирании, сразу же призывающей его к ответу, если только он отважится роптать вслух».¹²

«Я желаю государям — побольше строгости, большего искусства в систематическом грабеже подданных и сдирании с них шкуры. Немцам — самой жестокой ненависти к свободе и нежнейшей любви к рабству. А о том, чтобы долготерпение не лопнуло, будут заботиться их приспешники, их визири, их духовенство, советники и весь благородный цех писателей вместе с журналистами».¹³

Этот мир и эта Германия Клингера — Фауста трудно сравнимы с Германией Карамзина: «Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неограниченную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения (...), человек (...) везде бывает любимым гостем Природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия — везде радуется бытием своим и благословляет свое человечество. (...) Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество».¹⁴

Сближение миров двух писателей кажется невозможным, а между тем, оба они — типичные выразители сентименталистского видения мира. Карамзин близок немецкому квинетизму с его радостью предопределенного свыше бытия. Не только Ленц, но и житель немецкой Швейцарии Лафатер (о котором, как и о Ленце, он много пишет в «Письмах») близки ему.

Гипертрофия чувствительности его имеет почти всегда положительный заряд, она приводит его в восторженный экстаз, вызывает слезы умиления. Для Клингера чувствительность провоцирует чрезвычайную отзывчивость иного рода — необходимость вмешательства и помощи в делах политики и морали, — что и свершает его Фауст, используя силы Левиафана на благо человечеству, хотя, в итоге, и оказывается, что вмешательство в дела божьи, при ограниченном проникновении Фауста в понимание окружающей жизни, приводит к обратным результатам.

Яростное неприятие зла могучей натурой мятежника, и мягкий, но последовательный поворот к тому, что гармонирует с художником — таковы два пути сентиментализма, которые, развиваясь далее, за пределы эпохи, создадут антитезу Байрон, Лермонтов — и, практически, вся русская литература XIX века, не принявшая бунта и богоборчества, отвергшая титанических героев, защитников слабых. Она прославит вместо них «маленького человека». Достоевский едва ли не главным врагом своим считает сильного человека, по своему истолковав не только Байрона и всю западную ветвь прометеизма, но и превратив подобных героев в «человекобогов», т. е. зарвавшихся нисповергателей Бога истинного, не помощников божьих, как оно представлено в западной литературе, но утеснителей небесных сил, слугителей тьмы.

Неслучайно В. В. Розанов писал о том, что смерть Лермонтова для русской литературы означала, что «кронка была срезана, и дерево пошло в суки».¹⁵ Литература стала развиваться в боковые ветви, своим путем, но утратив важную европейскую тему, ярко представленную как ранней драматургией, так и последующей прозой Клингера, о жизни которого в России следует сказать несколько слов.

Фридрих Максимилиан Клингер (1752—1831), называвшийся в Петербурге Федор Иванович, происходил из бедной и незнатной семьи. Автор 76 пьес, на родине известен был

довольно узкому кругу. В поисках своей судьбы он покинул Германию для России, увозя рекомендательное письмо принца Фридриха Вюртембергского, отца вел. кн. Марии Федоровны, которая сразу определила драматурга в число близких людей своего гатчинского окружения, сделав его сначала чтецом, а затем пригласив в свою свиту во время европейского путешествия «графов Северных».

В 1783 г. Клинггер получает чин поручика и участвует в боевых действиях кн. Долгорукова в Крыму. С 1785 г. его судьба связывается с I кадетским корпусом, где он состоит воспитателем будущих офицеров. Повышаясь по службе, в 1798 г. он становится генерал-майором и директором корпуса, в 1811 г. — генерал-лейтенантом, Клинггер — кавалер пяти российских орденов (Анны — 1801; Георгия 4 ст. — 1806; Владимира 2 ст. — 1809; Белого Орла — 1818; Александра Невского — 1829 г.).

В 1788 г. он женится на побочной дочери гр. Г. Г. Орлова и, по видимости, Екатерины II. Два сына от этого брака погибли при жизни отца. Один — Платон — умер в детстве, другой — адъютант Барклая де Толли, 23-летний Александр, скончался от ран через сутки после Бородинского сражения.

Но Клинггер с прежней добросовестностью несет свою службу, хотя ничего более не пишет.

Наступившая после Отечественной войны реакция задевает его: происками ханжи кн. А. Н. Голицына он лишается места в корпусе. Примечательно, что об этом пишет поэту И. И. Дмитриеву Н. М. Карамзин, пишет с симпатией и уважением к Клинггеру: «Соединение двух министерств последовало с тем намерением, чтобы мирское просвещение сделать христианским. Отныне кураторами будут люди известного благочестия. Клинггер уволен: мне сказали, что он считается вольномыслящим. Не мудрено, если в наше время умножится число лицемеров, но, по моей системе, будет единственно то, что угодно Богу».¹⁶

Речь идет о соединении министерства духовных дел и народного просвещения, которое возглавит Голицын и которое Карамзин называет «министерством затмения».

Отставка Клинггера происходит в 1819 г. Он переезжает из директорского Корпуса¹⁷ во флигель дома гр. Анны Алексеевны Орловой, двоюродной сестры его жены Елизаветы

Александровны, на набережной Большой Невы, между 13 и 14 линиями. Там, не возвращаясь на родину, он встретит смерть, завещая сжечь все свои бумаги. Уничтожены окажутся письма его собрата юности Гете за 50 лет и многое другое. Так в России кончит свои дни создатель пьесы «Sturm und Drang» («Буря и натиск») 1776 года, которая дала название всем бунтарям немецкого сентиментализма — «штюрмеры».

На год переживший Клингера Гете сказал о нем: «Он был, как никто более, верный, твердый, неуступчивый малый, и таким следует быть».¹⁸

-
- 1) «Мысли Юнга об оригинальном сочинении», перевод И. А. Грацианского. Спб., 1812, С. 29.
 - 2) «Мысли Юнга об оригинальном сочинении», С. 37.
 - 3) Korf H. A. Geist der Goethezeit. Leipzig, 1957, В. I, S. 121.
 - 4) Беркли Л. Сочинения. М., 1978, С. 173.
 - 5) Там же, С. 185.
 - 6) Там же, С. 187.
 - 7) Юм Д. Сочинения в 2-х т.т., Т. I, М., 1966, С. 181.
 - 8) Там же.
 - 9) Беркли Д. Сочинения. С. 493.
 - 10) Там же.
 - 11) Там же, С. 517.
 - 12) Клинггер Ф.-М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. М.-Л., 1961, С. 198.
 - 13) Там же, С. 208—209.
 - 14) Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1934, С. 93.
 - 15) Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1988, С. 220.
 - 16) Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб, 1866. С. 204.
 - 17) Ныне адрес этого дома — Съездовская линия, В. О., № 3.
 - 18) Цитируется по изданию: F. M. Klinger. Betrachtungen und Gedanken. Berlin, 1958. S. XXI.

Ф. З. Канунова, О. Б. Кафанова

**О ФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСАХ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
КАРАМЗИНА И ЖУКОВСКОГО
(ВОСПРИЯТИЕ Ш. БОННЕ)**

В своих философских исканиях В. А. Жуковский часто шел по следам Н. М. Карамзина, который во многом руководил не только его историческим,¹ но и философским образованием. Показательно в этом плане их восприятие «Созерцания природы» Ш. Бонне. Сравнение перевода Карамзина и многочисленных помет Жуковского на экземпляре из его личной библиотеки позволяет увидеть близость философских воззрений Карамзина и Жуковского, а также их своеобразие в решении важнейших гносеологических и онтологических проблем.

Переводы Н. М. Карамзина из книги «Созерцание природы» («Contemplation de la nature», 1764) Ш. Бонне относятся к его ранним переводам, опубликованным в журнале Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума» в 1789 г. (части XVIII и XIX).

Теория известного швейцарского естествоиспытателя и философа XVIII в. едва ли соответствовала интересам аудитории детского журнала. Обращение к ней отражало скорее этап мировоззренческого развития самого переводчика.

Перевод не был снабжен предисловием или каким-нибудь комментарием Карамзина. Можно предположить, что поначалу он намеревался точно следовать тексту оригинала, о чем свидетельствует оформление первого фрагмента в XVIII части журнала. В нем полно, без изъятий была воспроизведена первая часть книги «О боге и вселенной вообще» («De dieu et de l'univers en général») с соблюдением нумерации и названий всех входящих в нее глав (Введение. Гл. I Первая причина. Гл. II. Творение. Гл. III. Единство и доброта все-

ленной. Гл. IV. Рассмотрение вселенной в ее главных частях. Гл. V. Множество миров. Гл. VI. Всеобщее разделение существ. Гл. VII. Всеобщая связь или гармония вселенной).²

Второй фрагмент, помещенный в XIX части «Детского чтения» явно обнаруживает уже личные пристрастия Карамзина. Он целиком выпускает вторую, третью и шестую части книги: «Об относительном совершенстве земных существ» («De la perfection relative des êtres terrestres», 13 глав), «Общее рассмотрение постепенной прогрессии существ» («Vue générale de la progression graduelle des êtres» 30 глав), «О растительной экономике» («De l'économie végétale», 10 глав). Четвертая часть — «Продолжение постепенной прогрессии существ» («Suite de la progression graduelle des êtres») и пятая — «О различных соотношениях земных существ» («De divers rapports des êtres terrestres») были переведены выборочно. Из тринадцати глав четвертой части Карамзин оставил пять: «Человек, рассматриваемый как существо телесное. Человек, одаренный разумом, упражняющийся в науках и искусствах. Человек в общежитии. Человек в общении с богом через религию. Постепенности человечества». А из семнадцати глав пятой части он сохранил только девять: «Предварительное рассуждение. Соединение душ с телами организованными. Представления и ощущения. Страсти. Темперамент. Память и воображение. Сновидение. Рассуждение. Зрение». Карамзин, надо полагать, намеренно отказался от нумерации глав, чтобы избирательный характер переводимого не был столь очевидным.

Из «Писем русского путешественника» известно, что начинающий писатель намеревался позже перевести сочинение Бонне в полном объеме, о чем он просил разрешения у автора при личной встрече с ним в Швейцарии в декабре 1789 г.³ Ясно также, что при этом он утаил факт уже сделанного выборочного перевода. Своего плана впоследствии Карамзин так и не осуществил. Можно предположить, что в 1789 г. он отобрал наиболее заинтересовавшие его в концепции Бонне проблемы, так что не чувствовал потребности вновь возвращаться к книге швейцарского философа. Поскольку никаких отступлений от оригинала в карамзинском переводе обнаружить не удалось, именно анализ принципов отбора позволяет выявить, что в «Созерцании природы» оказалось наиболее существенным для будущего писателя и историка.

Главная мысль Бонне, изложенная им в его сочинении, состояла в интерпретации «Лестницы существ». Между самыми простейшими и совершеннейшими проявлениями природы существуют, с его точки зрения, переходы, так что все тела составляют всеобщую непрерывную цепь. Основание лестницы образуют неделимые — монады, а ее вершину венчает высшее совершенство — бог. Вся органическая и неорганическая природа представляет собой единую нить без скачков и перерывов. Всеобщее единство и согласованность в природе обеспечивается гармонией, предустановленной первопричиной. Как и Лейбниц, Бонне видел в «лестнице существ» последовательный ряд независимых, неизменных, созданных творцом форм, лишь примыкающих друг к другу, но не связанных единством происхождения.⁴ Эта преформистская концепция постоянства видов соответствовала метафизической картине мира. Но одновременно были в идеях швейцарского философа зачатки представлений об изменчивости живой природы.

В переводе Карамзина изъятия из теории Бонне оказались столь значительным, что, с известной долей условности, можно говорить об изложении новой концепции.

Тщательно воспроизведя содержание первой части книги — защиту идеи Лейбница о теодицее, Карамзин затронул основной вопрос философии. Вселенная изображалась Бонне как результат действия «первопричины»,⁵ имеющей идеальное, божественное происхождение. Вопреки утверждениям материалистов, женеvский философ настаивал на мысли о конечности всего сущего, единстве, доброте целесообразности и взаимосвязанности всех частей «творения».

Карамзин не допустил ни одного малейшего отступления от оригинала, излагая близкую ему самому идеалистическую концепцию просветительского оптимизма: «Итак, мир имеет все совершенство, какое только мог он получить от Причины, в которой одно из первых свойств есть Премудрость. Итак, нет совершенного зла во Вселенной, ибо она не заключает в себе ничего такого, что бы не могло быть действием или причиною какого ни есть добра, которое бы не существовало без того, что мы злом называем. Если бы все было одно от другого отделено, не было б гармонии» (XVIII, 7).

Карамзин, как впоследствии и Жуковский, безусловно разделял идеалистическое решение общих вопросов проис-

хождения мира и человека. Но для выяснения его мировоззренческой позиции оказывается существенным не только то, что он включил в перевод, но и то, что он не включил.

Изложив теорию предустановленной гармонии, Бонне решил в последующих частях к ее подтверждению своими естественнонаучными и теологическими исследованиями. С его точки зрения, такие явления, как полипы, дождевые черви, летающие рыбы, развитие бабочки из гусеницы и эмбриональное развитие живых существ, подтверждают, что всякая жизнь от бога предназначена для будущего усовершенствования и счастья. Сам ход этих доказательств воспроизведен в русском переводе в достаточной мере фрагментарно. Теория «Лестницы существ» в карамзинском варианте распалась, поскольку исключено было рассмотрение развития всевозможных видов органической и неорганической природы, предшествовавших появлению человека. Вся теологическая часть оказалась тоже изъятой, так как мистицизм был чужд Карамзину на всех этапах его сознательной творческой деятельности.

Таким образом, человек, рассматриваемый на всех уровнях — онтологическом, физическом, духовном, даже отчасти социальном — явился чуть ли не единственной фигурой «лестницы существ» в интерпретации Карамзина. Человек предстал изолированным не только от предшествующих, но и от последующих звеньев в цепи системы (у Бонне специальная глава посвящена «небесной иерархии», включающей ангелов, архангелов и других небесных существ).

Изучение человека вне выстроенной Бонне строгой системы иерархии очищало концепцию личности от влияния механического детерминизма, к которому вело учение о преформации, и в конечном итоге разрушало метафизическую завершенность представления о месте человека в мироздании.

Для Карамзина человек — венец природы: «наверху лестницы нашего шара поставлен человек, совершеннейшее дело в земном творении» (XIX, 165). Следуя далее за размышлениями Бонне, Карамзин подходил к одному из важнейших вопросов философии XVIII в., в равной мере привлекавшему внимание материалистов и идеалистов, в том числе Канта, Мендельсона, Лафатера, Мальбранша, а также русских масонов. Этот вопрос касался соотношения материальной и духовной сфер природы человека и формулировался как проблема сосуществования и взаимовлияния души и тела.

Еще в 1787 г., в поисках ответа на не разрешимую для него загадку, Карамзин обратился к цюрихскому пастору И. К. Лафатеру, разработавшему учение о физиогномике. «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий? — спрашивал он. — Не служило ли связывающим между ними звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое... Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно?»⁶

Масоны, в среде которых происходило развитие будущего писателя,⁷ давали двоякое толкование проблемы. Согласно одной точке зрения, человек состоит из двух субстанций, души и тела, причем душа является «самодельствующей», то есть не нуждается в теле и полностью освобождается от него в смерти.⁸ По другому мнению, существуют три субстанции — тело, душа и дух, при этом душа соучаствует в обеих других и соединяет их.⁹

По-видимому, обе эти точки зрения не удовлетворяли Карамзина, который предпочел обратиться за ответом к «южному магу», установившему соотношение между чертами лица и свойствами характера, души. Именно Лафатер, являясь другом Бонне, перевел на немецкий язык его «Палингенезию» в 1769 г. («Palingénésie philosophique, ou idées sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivants»). И в этом сочинении, как чуть позже в «Созерцании природы», Бонне стремился найти обоснование идеям Лейбница в изучении живой природы, опираясь на сенсуализм Локка. Придерживаясь идеи трехсубстанционального состава человека, он рассматривал душу как своего рода накопитель впечатлений, которые улавливаются органами чувств. Сама по себе, душа не может быть дееспособной. Только идеи, образуемые на основе чувственных впечатлений, делают существа способными выйти за пределы телесного мира и жить в духовной сфере.

Карамзину, несомненно, была известна эта теория, о чем он прямо сообщил Лафатеру. («Я прилежно читаю сочинения Боннета», — писал он 10.VI.1788 (475). Но и она его не удовлетворяла. «Хотя великий философ нашего времени открыл мне много новых взглядов, — признавался он, — я все-

таки не вполне доволен всеми его гипотезами. Les germes, emboitement des germes, les sièges de l'âme, la machine organique, les fibres sensibles¹⁰ — все это очень философично, глубокомысленно, хорошо согласуемо и могло бы быть и на самом деле. (...) но чтоб было это так на самом деле — я этому не верю, пока верю, что мудрость Господня далеко превосходит всех наших философов и, следовательно, может найти другие, более удобные способы к созданию и сохранению своих творений, чем те, которые ей приписываются нашими Лейбницами и Боннетами» (475—476). Судя по всему, физиологическое обоснование теории происхождения идей не объяснила Карамзину сущности явления.

Вопрос о способе соединения души с телом вырастал для него в центральную проблему познания и самопознания. «Нужно знать себя и со стороны души, и со стороны тела, нужно вникнуть в различные отношения их между собою, чтобы осмелиться сказать: я себя знаю», — писал Карамзин 20.IV.1787 (486). Видя в Лафатере «знатока в науке о человеке», сформулировавшего мысль о неповторимости человеческой индивидуальности, он надеялся услышать от него исчерпывающее объяснение. Однако Лафатер, отказавшись от какого бы то ни было доказательства, сделал в своем ответе акцент на особом предназначении человека: «(...) **Я существую** — и размышляю о своем бытии — и сравниваю его с другими видами бытия — и не знаю ни одного подобного человеческому, почему я называю его царственным, духовным, высоким, предназначенным на продолжение и совершенствование, — и радуюсь этому и больше не мудрствую» (письмо от 16.VI.1787. — 470).

Цюрихский священник допускал в сущности самостоятельность души, ее независимость от опыта. Такой ответ, очевидно, разочаровал юного Карамзина, который в следующем письме отстаивал эмпирическую точку зрения: «Итак, теперь еще невозможно в точности понять связь души с телом, это грустное открытие для того, кто так желал себя познать. (...) Я родился с жаждой знания; я вижу, и тотчас хочу знать, что произвело сотрясение в моих глазных нервах: из этого я заключаю, что знание для души моей необходимо, почти так же необходимо, как для тела пища, которой я искал с той минуты, как появился на свет. Как только пища моя переварена, я ищу новой пищи; как только душа моя основательно узнает какой-нибудь предмет, то я ищу опять нового

предмета для познания» (письмо от 25.VI.1787. — 472—473).

Карамзин явно прибегал к выражениям Бонне, черпая аргументацию в его сенсуалистской теории.¹¹ Проблема, решаемая Лафатером в онтологическом плане, имела для него и важный гносеологический аспект. Источником чистого эмпиризма мог быть и трактат И. Канта «Грезы духовидца» («*Träume eines Geistersehers*, 1766»).¹² Но «метафизика» Канта представлялась Карамзину слишком сложной, о чем сохранились его свидетельства.¹³ Бонне же обладал даром художественной популяризации своего философского учения. Передавая мнение о нем Виланда, автор «Писем русского путешественника» безусловно выражал и собственную точку зрения: «Никто из Систематиков (...) не умеет так **обольщать** своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение» (76).

Ясность и простота, художественная образность изложения сенсуалистской теории способствовали, по-видимому, «возвращению» Карамзина к Бонне в 1789 г. уже в качестве переводчика. Очень добросовестно излагая механизм формирования чувств и идей, он добивался терминологической точности. Многие вводимые им обозначения сопровождалось оригинальным названием понятия в скобках: «представление» (*perception*), «ощущение» (*sensation*), «чувствование» (*sentiment*), «изменение» (*modification*), «настроение» (*détermination*), «естественное побуждение» (*instinct*), «склонность» (*affection*), «одинаковость» (*identité*) (XIX, 184, 188, 189, 194).

Позднее, в общении с Бонне, Карамзин заметит, что «трудно (...) выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык (...) Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем» (171).

Но стремление к скрупулезной терминологической адекватности отнюдь не означало для Карамзина прямолинейного принятия материалистического объяснения процесса познания. Впоследствии он не раз будет обыгрывать физиологические принципы теории Бонне в ироническом контексте.¹⁴ Более привлекателен для него как агностика и сенсуалиста был другой аспект гносеологической теории Бонне — мысль о сложности и в определенной мере неподвластности науч-

ному познанию души человека, утверждение идеи индивидуальной неповторимости.

«Обойди все народы земные; рассмотри жителей одного государства, одной провинции, одного города, одного местечка — что я говорю! посмотри на членов одного семейства, и тебе покажется, что каждый человек составляет особый род», — писал Карамзин вслед за Бонне. (XIX, 175—176). Размышляя о различиях в темпераменте, швейцарский натуралист заключал, что «разные люди не могут чувствовать точно одного при действии одних предметов (XIX, 189). Вывод его был связан с провозглашением сознательной направленности поведения человека: «Познавай же свой темперамент! Если он порочен, можешь исправить его, однако ж не стараясь разрушить оного» (XIX, 190). Карамзину была близка эта активная просветительская позиция.¹⁵

В целом анализ восприятия Карамзиным «Созерцания природы» позволяет уточнить его собственный взгляд на человека, во многом «синтезирующий» концепцию просветительского антропологизма и идею неповторимости, самоценности внутреннего мира личности. Размышляя над философским соотношением свободы воли и необходимости, он отвергал механистический детерминизм, утверждая возможность нравственного совершенствования.

Жуковский обратился к Бонне, по крайней мере, на 18—20 лет позже Карамзина. И естественно, что каким бы ни было влияние Карамзина на чтение Жуковского, начинающий поэт-романтик в изучении Бонне проявил значительную самостоятельность, расставил нужные именно ему акценты.

В библиотеке Жуковского имеется полное собрание сочинений Бонне в 18 томах — собрание его естественнонаучных и философских трудов.¹⁶ Наиболее внимательно прочитан по этому VII том, содержащий «Созерцание природы». Судя по почерку, первый раз он прочитал эту книгу очень молодым, до начала своей переписки с А. И. Тургеневым, которому он систематически и очень подробно сообщал о прочитанном. Если это так, то Жуковскому было тогда столько же лет, сколько Карамзину, когда тот писал письма Лафатеру.

Теория органического единства природы, в котором человек занимает свое особое место, была внутренне близка концепции «универсальной закономерности Гердера в его популярном труде «Идеи к истории человечества».¹⁷ Будучи

страстным поклонником эмпирического знания Локка и опираясь на собственный опыт естествоиспытателя, Бонне стремился осмыслить связь между растительным и животным миром. Женевский гражданин, почитатель Лейбница и Руссо, он восторженно поклонялся природе, глубоко изучал ее явления. Это было чрезвычайно важно для того времени, «когда впервые загоралась заря естественно-исторического мышления».¹⁸ Нет ничего удивительного в том, что Карамзин назвал «Созерцание природы» «магазином любопытнейших знаний для человека» («Письма русского путешественника», 168). Вместе с тем труд швейцарского философа наносил удар по рационализму, заявляя о сложности человека.

По всей видимости, Жуковского привлекали в Бонне оба качества его знаменитого сочинения: превосходное знание природы, поэтизация ее конкретно-чувственных явлений, с одной стороны, и сенсуализм Бонне, глубоко уверовавшего в познавательные возможности человека, с другой.

«Созерцание природы» было прочитано Жуковским с равномерным, тщательным вниманием. Пометы, отчеркивания и подчас обширные маргиналии Жуковского могут быть сгруппированы по двум основным рубрикам. Первая, большая часть многочисленных помет, имеет характер подчеркиваний отдельных слов и их перевода на полях. Они касаются преимущественно названий, относящихся к миру растений, живой и неживой природы. Эти пометы носят главным образом познавательный характер.

Много помет такого рода во второй части труда «Об относительном совершенстве земных существ». Жуковский подчеркивает длинный ряд слов-терминов и на полях дает их перевод. Так, рядом со словом «des agarics» он пишет чернилами «губки» (86), напротив «capsules» — «коробочки» (88), «pistils» — «пестики» (95), «la moule» — «ракушка» (66). Всего таких слов-терминов около пятидесяти.

Как видим, будущий поэт-романтик с жадностью изучает природу, стремится осмыслить место каждого, даже самого ее примитивного явления в системе мира.

Еще Карамзин, беседуя с Бонне, говорил, что ему придется при переводе «Созерцания природы» «составлять или выдумывать новые слова», потому что «еще весьма не многие философические и физические книги переведены на русский» (171). Жуковский на полях книги иногда предлагал такие

слова, иногда их объяснял. О его внимательном чтении говорят и тщательно исправленные опечатки (20, 164, 175, 189, 288). Многие пометы сделаны черными чернилами. Причем очень часто видны следы двойного написания: сначала карандашом, затем (поверх) — чернилами. Это — свидетельство не только внимательного чтения, но и какой-то повышенной заинтересованности Жуковского, которая может быть объяснена по-разному. Подыскивание русских слов, специальных терминов было связано, возможно с его намерением сделать в будущем перевод всего произведения. Однако более вероятным представляется другое объяснение. В познавательных целях Жуковский обращается к Бонне не однажды. По мере идейно-творческого самоопределения поэта у него возрастала потребность в конкретных знаниях о природе и ее многочисленных проявлениях, а «Созерцание природы» могло явиться одним из источников такого познания,

Следует отметить, что горячая заинтересованность Жуковского в эмпирическом знании природы проявилась очень рано и в самом процессе его художественного творчества. Так, задумав около 1803 г. поэму «Весна»,¹⁹ он внимательно читает Томсона, Клейста и других «певцов природы». В библиотеке поэта сохранились сочинения Клейста с обильными пометами молодого Жуковского,²⁰ особенно на тексте стихотворения «Der Frühling». Создается впечатление, что оно читалось как учебник ботаники или зоологии. Жуковский подчеркнул и перевел на полях слова, характеризующие растительный и животный мир в период пробуждения природы. В этих маргиналиях узнаваем не только почерк, но и характер чтения «Созерцание природы» Ш. Бонне. Очень возможно, что это сочинение явилось одним из натуралистических источников поэмы «Весна».

Вторая группа маргиналий, отчеркиваний и подчеркиваний Жуковского носит уже не только познавательный, но и принципиальный мировоззренческий характер. При этом следует сказать, что наибольшее количество таких помет сделано в тех главах, которые были переведены в свое время Карамзиным. Речь идет о первой части («О боге и вселенной вообще»), где ставятся общие вопросы происхождения мира, и о пятой части («О различных соотношениях земных существ»), где в качестве главного выделяется вопрос о сущности человека.

Жуковского, по-видимому, также, как и Карамзина, привлекает сенсуализм Бонне, утверждение им чувственной основы человеческого сознания и познания. В пятой части он отчеркивает и отмечает особым знаком главу «Соединение душ с телами организованными». Здесь его привлекает главное гносеологическое положение Бонне: «Нервы, разным образом потрясаясь от предметов, сообщают свои потрясения мозгу, а по сим впечатлениям происходят в душе представления и ощущения» (216; XIX, 183).²¹ Отчеркивает Жуковский и следующую за этой мысль: «Оне (представления и ощущения.—Ф. К., О. К.) имеют одинаковое происхождение, а различаются только степенью потрясения. Лучи, выходящие из предмета, трогают мою оптическую нерв. Я получаю представление, которое уведомляет меня о присутствии предмета. Они потрясают весьма сильно сию нерв, у меня делается ощущение, которое я изъясняю словом **боль** или **неудовольствие**» (216; XIX, 184). Тут же Жуковский подчеркивает конкретизацию этого положения: «Разность чувств, через которые душа получает впечатления от предметов, производит в ее представлениях и ощущениях подобную разность». Жуковского привлекает, по всей видимости, попытка Бонне подкрепить сенсуализм Локка глубокими физиологическими наблюдениями. «Чувствования, причиняемые потрясением нерв зрения, совершенно отличаются от тех, которые производит потрясение нерв слуха. Чувствование осязания не имеет никакого сходства с чувствованием вкуса. Оне суть разные изменения души, которые соответствуют разным свойствам предметов» (217; XIX, 184).

О горячей заинтересованности Жуковского в проблеме происхождения чувств свидетельствуют его многочисленные маргиналии на «Трактате об ощущениях» Кондильяка.²²

В качестве одного из важнейших естественных побуждений души человека Бонне называл нравственное чувство. Жуковский отчеркивает эту мысль двумя чертами и ставит два восклицательных знака. Эта активная и явно положительная реакция полностью проясняется при анализе его развернутых маргиналий к первой части «Созерцания природы».

Не менее важной была для Жуковского и мысль о неповторимой индивидуальности человеческой личности. Сравнивая сознание человека с зеркалом, в котором «вкратце

изображаются разные части вселенной», Бонне говорит о поразительной несхожести этих зеркал: «Какая соразмерность между зеркалом крота и зеркалом Ньютона или Лейбница? Какие образы являются в мозгу у Гомера, Вергилия или Мильтона!» (229; XIX, 197—198). Жуковский подчеркивает различные вариации этого положения у Бонне еще несколько раз.

Начало первой части «О боге и вселенной вообще» Жуковский снабжает подробными маргиналиями, имеющими, как нам представляется, принципиальное значение для понимания его концепции личности и шире — природы его просветительства. Относясь с сочувствием и интересом к гносеологической теории Бонне, дававшей многое для материалистического понимания личности, Жуковский вместе с тем в решении ряда общих философских проблем горячо разделял идеализм швейцарского философа.

Вслед за Бонне, Жуковский во взглядах на происхождение мира и человека остается идеалистом. На полях книги он не полемизирует с автором, как это часто бывает в его чтении, а скорее всего отстаивает, уточняет его идеи собственными соображениями. Нужно полагать, что Жуковский чутко уловил полемичность Бонне (в решении основных философских вопросов) по отношению к таким материалистам XVIII в., как Гольбах и Гельвеций, полностью детерминировавшим личность материальными условиями бытия и склонным отрицать свободу воли, инициативу отдельного индивида. В главе «Первая причина» Бонне даже стилистически подчеркивает эту полемичность, несогласие о невидимом оппонентом.

«Почитать вселенную вечною», — утверждает философ, — есть то же, что полагать бесконечным порядок существ конечных. Прибегать к вечному движению есть то же, что полагать вечное действие» (2; XVIII, 4—5).

Жуковский, идя от Бонне, еще более заостряет полемичность тона. Многие его замечания представляют собою как бы прямые контраргументы по отношению, например, к Гольбаху. Чтобы убедиться в этом, сравним некоторые программные мысли Гольбаха в его «Системе природы» с маргиналиями Жуковского:

«Природа — это колоссальное соединение всего существующего, представляющего нам повсюду лишь материю и движение.

Но спросят у нас, откуда эта природа получила свое движение? Мы ответим, что от себя самой, ибо она есть великое целое, вне которого ничто не может существовать».²³

«Если бы природа была произведена материей и движением, тогда бы она беспрестанно изменялась, но она всегда одинаково беспрестанно изменялась, но она всегда одинаково беспрестанное последствие одних и тех же явлений... Вечность, или безначальность природы непонятна».²⁴

Не принимая тезиса Гольбаха о движении как форме существования материи, Жуковский возражает против понимания движения как механистического перемещения. «Как скорость последствие, то есть уже перемена или переход из одного состояния в другое, следовательно, прекращение одного и начало другого». То есть Жуковский движение понимает как качественное изменение. Определенная диалектичность мышления чрезвычайно важна для открывателя психологического метода в русской литературе.

Полемика Жуковского с материалистами XVIII века усиливается, как только речь заходит о человеке, которого Гольбах и Гельвеций объявили частью природы, полностью подчиненной ее законам.

Бонне как бы возражает Гельвецию, который в своем программном труде «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» рассматривал сознание как свойство материи, возникшее на определенном этапе ее развития. «Утверждать, что разум произведен материею и движением, есть то же, что почитать Оптику Ньютонову сочинением слепорожденного человека», — размышлял Бонне (3; XVIII, 5). Жуковский в унисон ему записывает на полях: «Как мог простой механизм произвести что-нибудь умное, мыслящее?.. Человек есть творение. Он имеет ум, следовательно, творец его должен быть существо верховно премудрое, ибо оно не только произвело ум человеческий, но само по себе непостижимо, недостижимо для ума сего».

Как показывает чтение «Лицея» Лагарпа (раздела о

философии XVIII века),²⁵ Жуковский весьма положительно воспринял резкую критику Гельвеция за его абсолютизацию детерминизма.

Слова автора «Лицея» о том, что свобода выбора существует и что «она состоит в возможности действовать согласно моему суждению», Жуковский подчеркивает двойной чертой. Далее он помечает конкретизацию этого положения: «Никаких сомнений не вызывает то, что здесь моральное побуждение, моя воля является свободной во мне, как я сам, поскольку Она есть не что иное, как суждение, выбор мотивов, которым мне нравится следовать, и конечно же все это зависит от меня и от моего разума, выбрал ли я хорошо или плохо» (411).

Характерно в этом же плане и следующее за этим отчеркивание с тремя восклицательными знаками: «Вместе со свободой человека, подорванной софистами, упадет вся нравственность его поступков, добродетель будет лишена своей чести, порок поднят из своего позора, ничто в мире больше не будет заслуживать ни наказания, ни поощрения: все будет делом (произведением) неизбежного и непостижимого сочетания и все творение сократится до сборища автоматов» (415).

Полемика Жуковского с материалистами XVIII в. имела, как нам представляется, значительный нравственно-философский смысл. Созерцательный и во многом механистический материализм XVIII в. абсолютизировал детерминизм личности, метафизически трактовал проблему свободы воли и необходимости. «Метафизический материализм XVIII века не давал научной основы для решения вопроса об оценке человеческого поведения».²⁶ Нравственный фатализм противоречил требованиям прогрессивного развития истории. Уже Руссо пытался найти новое обоснование нравственной свободы человека, не связанной непосредственно с материальными условиями общества. Свобода «естественно» нравственного чувства — важнейший для Руссо стимул общественной деятельности человека. «Общественный договор» формулирует в основе «гражданской свободы неистребимую в человеке естественную свободу». Это тот нравственно-этический аспект руссоизма, который был в значительной мере близок и Карамзину, и Жуковскому.

Первооткрыватель романтизма в русской литературе, Жуковский, как показывают его письма, дневники, художественное творчество, ненавидел нравственный фатализм, считая вслед за Руссо главной обязанностью любого человека сознательную и активную нравственную направленность в его жизнедеятельности. В этом Жуковский был близок Карамзину, его просветительской позиции. Еще в письме к Лафатеру в 1787 г., стремясь разгадать загадку человека, его деятельности, Карамзин ставит вопрос о свободе воли и необходимости: «Я захочу — и воля моя исполнится» (471). Пройдет некоторое время, и Карамзин по-своему придет к Руссо, во многом определившему характер его просветительства.

Еще в большей мере это свойственно Жуковскому. Не случайно мысль Бонне о том, что важнейшим естественным побуждением души человека является нравственное чувство, он подчеркивает двумя чертами и ставит два восклицательных знака. Эта, как уже говорилось выше, его положительная реакция в большей мере проявляется именно в плане его полемики с нравственным фатализмом и во многом определяет собою нравственно-философскую основу его просветительских взглядов.²⁷ Критикуя механическое понимание личности, данное французскими материалистами, Жуковский в ряде вопросов приближается к диалектическому пониманию человека как существа не только материального, но и духовного, не только детерминированного, но и активного, обладающего свободой нравственного выбора, а тем самым и способного к нравственной саморегуляции и усовершенствованию и, следовательно, нравственно ответственного перед собою и другими людьми, но в то же время и внутренне противоречивого.

Говоря о близости философских воззрений Карамзина и Жуковского, целесообразно отметить, как нам кажется, и определенное отличие. Если Карамзин, как он сам признавался, не мог променять «ясного Локка и Кондильяка» на «тонкоумного Канта», то Жуковский испытал на себе значительное влияние немецкой идеалистической философии. Так, уже в письме от 8 января 1806 г. он просит А. И. Тургенева: «Ради бога пришли мне что-нибудь хорошее в немецкой философии. Она возвышает душу, делая ее деятельнее, она больше возбуждает энтузиазм». И далее следует интересное сравнение немецкой и французской философии при явном

предпочтении первой. Единственным исключением для него был Жан Жак Руссо.²⁸

Показательно, что, характеризуя немецкую идеалистическую философию, Жуковский отмечает в ней деятельное начало. Он настойчиво просит Тургенева, снабжавшего его исторической и философской литературой, рекомендовать ему немецкого философа: «Пришли мне какого-нибудь немца-энтузиаста. Мне теперь нужнее такой помощник, нужна философия, которая бы оживила, побудила мою душу».²⁹ Библиотека поэта сохранила следы этого увлечения.³⁰

Говоря о том, что немецкая философия «возбуждает» энтузиазм, Жуковский тем самым указал на важнейшую черту немецкой идеалистической философии. Утратив политическую остроту французского материализма XVIII века, она давала вместе с тем наиболее последовательное теоретическое обоснование проблемы личности и, что было особенно важным, ее деятельной активности и «практического разума». Эта активность усматривалась прежде всего в высшей духовной деятельности, что не только импонировало Жуковскому, но и во многом определяло пафос его просветительства.

Таким образом, проследивая отношения Карамзина и Жуковского к «Созерцанию природы» Ш. Бонне, можно увидеть общие черты в философских воззрениях обоих писателей и в тоже время заметить определенное движение русской эстетической мысли от сентиментализма к романтизму.

1) См.: Канунова Ф. З. Карамзин и Жуковский. (Некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеки В. А. Жуковского) //Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. XVIII век. Сб. 16. Л., 1989. С. 130—138.

2) Статьи из Боннетова сочинения //Детское чтение для сердца и разума. Ч. XVIII. 1789. С. 3—53. Ниже ссылки на текст перевода даются с указанием части и страницы в тексте.

3) Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1934. С. 168. Ниже ссылки на произведение даются с указанием страницы в тексте.

4) История биологии. С древнейших пис. времен до начала XX века. М., 1972. С. 111, 120, 107.

5) Карамзин настаивал на термине «причина», о чем свидетельствует его единственное примечание в тексте перевода. Первую фразу: «Je m'élève à la raison éternelle» он перевел: «Возношуся к Бечной Причине», пояснив, что *raison éternelle* на языке Боннетовом не значит вечный разум, как то перевел немецкий переводчик г. профессор Тициус. В конце первой главы говорит Боннет *il est hors de l'Univers une Raison éternelle de son existence*. Здесь *Raison* не может значить разум, а великий философ не употребляет одного слова в столь разных значениях» (XVIII, 3). О своей полемике с И. Д. Тициусом, а также о недовольстве автора немецким переводом «Созерцания» Карамзин поведал в «Письмах русского путешественника» «Боннет хвалит один Спаланцаниев перевод, а немецким переводчиком, профессором Тициусом, весьма недоволен потому, что сей ученый Германец думал поправлять его, и собственные свои мнения сообщал за мнения Сочинителевы. — замечал он (169), приводя в пример грубой ошибки выше процитированную фразу. В действительности «*raison*» имеет двойное значение: «разум» и «причина». Но подобная скрупулезность в деталях только подчеркивает значимость факта отбора. В более позднем переводе Виноградова слово «*raison*» неудачно переведено как «вина»: «Возношуся к всечной вине» //Созерцание природы, соч. г. Боннета. Смоленск. 1804. С. 1.

6) Переписка Карамзина с Лафатером. 1786—1790 (подготовка текста Ю. М. Лотмана) //Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984, С. 468. Ниже ссылки на издание даются в тексте.

7) Кочеткова Н. Д. Идеино-литературные позиции масонов 80—90-х годов XVIII в. и Н. М. Карамзин //Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. XVIII век. Сб. 6, М.; Л., 1964, С. 176—196.

8) Вечерняя заря, 1782, Ч. 1. С. 169—184.

9) Там же, С. 278—283.

10) Зародыши, вхождение зародышей, седалище души, органический механизм, чувствительные фибры (Франц.).

11) Ср.: в «Созерцании природы»: «Нервы, разным образом потрясаясь от предметов, сообщают свои потрясения мозгу; а по сию впечатления происходят в душе представления и ощущения» (XIX, 183).

12) Rothe H. N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Philologische Untersuchungen. Berlin, Zürich, 1968. S. 70.

13) В «Письмах русского путешественника, описывая свою встречу со «славным», «глубокомысленным» и «все сокрушающим Кантом», он не без иронии заключил: «Кант говорит скоро, весьма тихо и не вразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов не много. Все просто, кроме... его Метафизики (21).

14) Ср. эпизод из «Писем русского путешественника», «Вы ищите за милою того, что у нас под носом», — сказал ему Шафнер с сердцем; но душа Магистрова была в сию минуту так полна, что

ничто извне не могло войти в нее, и Шафнерова риторическая фигура проскочила если не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовой гипотезой о происхождении идей) не тронул в его мозгу никакой новой или девственной фибры (fibre vierge). 59.

15) Канунова Ф. З. Из истории русской повести. (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина (Томск, 1967, С. 11—14).

16) Collection complète des oeuvres de Ch. Bonnet. T. 1—18. Neuchâtel, 1779—1783. Ниже ссылки на VII томов даются с указанием страниц в тексте.

17) Реморова Н. Б. В. А. Жуковский — читатель и переводчик Гердера //Библиотека В. А. Жуковского в Томске, Ч. I., Томск, 1979. С. 149—300.

18) Луневич В. В. От Гераклита до Дарвина, М., 1960. С. 65—70.

19) Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского Вып. 2., Пг., 1916. С. 498.

20) Des Herrn E. Ch. von Kleist sämtliche Werke. T. 1—2. Berlin, 1782.

21) Цитаты приводятся по карамзинскому переводу. В скобках указываются: страница оригинала; часть и страница «Детского чтения» (соответственно римскими и арабскими цифрами).

22) Канунова Ф. З. «Трактат об ощущениях» Э. Б. Кондильяка в восприятии Жуковского //Библиотека В. А. Жуковского в Томске, Ч. I. Томск, 1979. С. 346—399.

23) Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного. М., 1940, С. 171.

24) Полностью тексты маргиналий Жуковского см.: Канунова Ф. З. О философских взглядах Жуковского //Библиотека В. А. Жуковского в Томске, Ч. I. Томск, 1979. С. 339—342.

25) Zicée ou cours de littérature ancienne et moderne. Par. J. F. Laharpe. T. 15. Paris. 1798. Страницы указываются в тексте.

26) Шишкин А. Ф. Из истории этических учений. М., 1954. С. 154.

27) Канунова Ф. З. Творчество Ж. Ж. Руссо в восприятии Жуковского //Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. II. Томск. 1934. С. 229—336.

28) Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. М. 1895, С. 22.

29) Там же.

30) Янушкевич А. С. Немецкая эстетика в библиотеке В. А. Жуковского. //Библиотека В. А. Жуковского в Томске, Ч. II., Томск, 1934. С. 140—225.

С. О. Шмидт

ПУШКИН И КАРАМЗИН

Название доклада (статьи) допускает разные тематические аспекты. Это — и взаимоотношения Пушкина и Карамзина. И — написанное, сказанное Пушкиным о Карамзине. И — Карамзин в творчестве, в сознании, в жизни Пушкина — во всем многообразии возможностей восприятия и оценок: и сочинений Карамзина, и Личности его, и образа поведенния Историографа. В чем именно? И когда это выявляется? Чем объясняется? Какова взаимосвязь с другими явлениями жизни и творчества Пушкина? Просматриваются и иные ракурсы. И понятно, что охватить все это в одном докладе немислимо.

Положение осложняется и тем обстоятельством, что на тему «Карамзин и Пушкин», казалось бы, уже столько написано, начиная, по крайней мере, с брошюры К. М. Данилова «Пушкин и Карамзин», изданной в Казани в 1917 г. И написано основательно с использованием и печатных и архивных материалов: особенно много можно почерпнуть из сравнительно недавних исследований Н. Я. Эйдельмана, В. Э. Вацура, М. И. Гиллельсона. И тем не менее к сообщению постановочного характера такой проблематики, особенно по теме «Пушкин и «История государства Российского» обязывает и долг перед памятью и Карамзина и Пушкина. И то, что при характеристике места Карамзина и его «История» в мыслях и в творчестве Пушкина последних лет жизни некоторые моменты не привлекли еще достаточно пристального внимания.

При объединении двух великих имен прежде всего приходит на ум хрестоматийно известные слова Пушкина:

«Россия казалось найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом» (VIII, 48)* и запомнившаяся со школьных лет хлесткая эпиграмма, приписываемая юному Пушкину:

*В его Истории изящность, простота
Доказывает нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута. (I, 303)*

В дореволюционные годы научное и литературно-художественное значение «Истории государства Российского» Карамзина и влияние ее на общество характеризовали словами из воспоминаний Пушкина 1820-х гг.: как, к примеру, в выдержавшем много изданий учебнике С. Е. Рождественского об отечественной истории в связи со всеобщей.¹⁾ В советское же время у читателя, отлученного семьдесят лет от «Истории» Карамзина, именно краткое четверостишие определяло представление о главном труде жизни Историкографа.

Причем эпиграмму прочли с нарочито классовых позиций. Идя к тотальной политизации представлений о настоящем, соответственно препарировали отношение и к прошлому и к историкам прошлого. Особую лепту в такую тенденциозную трактовку эпиграммы внес М. Н. Покровский — в ту пору глава историков-марксистов. В лекциях 1923 г. в Петроградском коммунистическом университете имени Зиновьева «Борьба классов и русская историческая литература», когда он попытался повлиять на общественные науки — по его же словам — «коммунизируя, свердловизируя и зиновьевизируя их снизу».²⁾ С тех пор эпиграмма признавалась обязательным свидетельством оценки передовыми современниками «Истории государства Российского» и важнейшим показателем отношения Пушкина к Карамзину (а также и образцом жанра эпиграмм вообще). И мы обязаны устранить из сознания широкой публики это десятилетиями внедрявшееся убеждение.

Теперь, когда сопоставлены между собой и комментированы все, буквально все обращения к имени Карамзина в сочинениях Пушкина — литературных произведениях, переписке, деловых бумагах, а также в выявленных сочинениях

* Цитаты из сочинений Пушкина приводятся по Полному собранию сочинений в десяти томах. Изд. 4-е. Л., 1977—1979. Римскими цифрами указывается том, арабскими — страница.

(переписке, дневниках, мемуарах) других авторов, отмечавших это, становится однозначно ясно, что обвинительные слова эпитаграммы резко контрастируют с тем, что Пушкин писал и говорил о Карамзине — Историографе даже в период времени, к которому относят ее сочинение. И, что вдова Карамзина Екатерина Андреевна имела действительно все основания написать в скорбном письме (от 30 января 1837 г.) сыну Андрею, извещавшем о кончине Пушкина: «потеря для России, но еще особенно НАША; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет».³)

Проще всего было бы на основании этого опровергнуть авторство Пушкина, искать другого автора. И подобное мнение не раз высказывалось — последний раз, кажется, в статье А. Ф. Смирнова в № 6 журнала «Русская речь» за 1991 год, где сочинителем эпитаграммы назван П. А. Катенин. Но ведь сам Пушкин признавался в том, что был автором эпитаграммы на «Историю» Карамзина; эпитаграмму приводит в своем труде поклонник и Карамзина и Пушкина М. П. Погодин в книге о Карамзине, прочитанной до издания П. А. Вяземским. Заметна близость и к литературному стилю поэта. Потому-то наиболее авторитетные знатоки и текстов и биографии Пушкина полагают, что из известных ныне эпитаграмм на «Историю государства Российского» лишь такая достойна пера Пушкина. Вероятнее всего, эпитаграмма — озорство юного гения (Пушкину ведь было только 19 лет) с целью «сорвать улыбку» (выражение П. А. Вяземского) у близкой ему революционно настроенной молодежи (потом сам Пушкин их назовет «молодые якобинцы»). (VIII, 50).

Допустимо даже предположить, что Пушкин исправил текст не им сочиненной эпитаграммы, где обыгрывалось отношение к «самовластию»: «На плаху истину влача, // Он доказал нам без пристрастья // Необходимость палача // И прелесть самовластья».⁴) Он устранил и оскорбительный для Историографа упрек в отступлении от исторической «истины» и внес элегантность. Ведь эпитаграммичность в ту пору была принадлежностью светского разговора в такой же мере, как и способность к сочинению апофега — афоризмов морализующей направленности. Вспомним Евгения Онегина, который мог «возбудить улыбки дам // Огнем нежданных эпитаграмм» (V, 10). И пример самого Пушкина тех же лет, когда в 1819 г. в доме Карамзиных Николай Иванович Тургенев, говоря о свободе, сказал: «Мы не первой станции к

ней». — Да, — подхватил молодой Пушкин, — в Черной Грязи».⁵ (Это, кстати, и показатель того, что и после сочинения знаменитой ныне эпиграммы и Пушкина и критиковавшего «Историю» Карамзина Н. Тургенева продолжали принимать в семье Историографа — знать, не видели оснований для обиды! В середине 1820-х гг. Пушкин задумал сборник эпиграмм («готовлю язвы эпиграмм») (VII, 322). В самом конце жизненного пути — в 1836 г. — Пушкин тоже писал: «Благоговею перед созданием «Фауста», но люблю и эпиграммы» (VII, 297).

Очень убедительными и изящными по форме кажутся соображения В. Э. Вацура, соотнесшего (в докладе на нашей конференции) содержание эпиграммы с конкретным эпизодом в труде Карамзина из истории «государствования» особо почитаемого им Ивана III, когда тот трем высокопоставленным лицам заменил смертную казнь торговой, т. е. наказание кнутом. Тогда эпиграмма и вовсе теряет усматриваемый в ней столь широко обличительный смысл, и, как определил сам Пушкин в письме к Вяземскому 1826 года, «остра и ничуть не обидна» (X, 163).

Теперь ясно, и то, что эпиграмма — даже, если к ней подойти в прежнем традиционном расширительном мировоззренческом плане, не только не отражает взгляды Пушкина в целом на «Историю» Карамзина, но и взгляды большинства декабристов. Из высказываний декабристов упоминали обычно лишь близкие к политической — якобы революционной — направленности эпиграммы: заметки для себя Никиты Муравьева и несколько строк, сочиненных тогда же Н. И. Тургеневым. Но не учитывали того, что суждение будущих декабристов (и этих названных тоже) о книгах «Истории» Карамзина не оставались неизменными. А на того же Николая Тургенева в 1826 г. «печальная весть о смерти Карамзина» «так сильно повлияла», что «вызвала — по словам П. Я. Чаадаева — «спасительный кризис в его умственном состоянии»⁶ (у него была резкая депрессия после восстания декабристов).

Самое же существенное то, что сочинена была злосчастная эпиграмма в ту пору, когда сам Карамзин не показал еще с должной четкостью различия в словоупотреблении им понятий «самовластие» и «самодержавие». Тем более, что привычное при чтении и разговоре французское слово «деспотизм» переводится по-русски и как «самодержавие» и как

«самовластие» (и поныне в трудах ученых — и, в частности, в напечатанном по-французски о России XVIII века П. Н. Милюкова — «просвещенный абсолютизм», это — *despotisme éclairé*). А это был именно тот период развития и русского литературного языка и общественной мысли, о котором Пушкин заметил: «Мы принуждены все, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслимы мы на языке иностранном» (VI, 133—134). Самодержавие по Карамзину, это — единовластие внутри страны, оберегающее и от распрей и насилия властимущих, и от опасности и жестокости народного бунта, и обеспечивающее внешнюю независимость государства. И оно Карамзиным противопоставляется самовластию — и единовластца, и олигархов, и народа. Тогда в 1818 году — ни Пушкин, ни его молодые друзья не прочитали еще IX том «Истории» Карамзина, изданный в 1821 г., где на примере поступков царя Ивана, их последствий и для россиян и для самого государя, обличалось страстно и искренне именно самовластие.

Эта книга произвела сильнейшее впечатление на будущих декабристов, что отражено и в современных документах и в мемуарах. Рылеев написал не только восторженное письмо, но и сочинил первую из своих «исторических дум» — о Курбском. Широко цитируется анекдот, о котором напомнил декабрист Лорер; на улицах Петербурга тихо от того, что все углубились в чтение тома Карамзина об Иване Грозном. А московский декабрист Штейнгель особо выделил в мемуарах как важное событие: «явился феномен, небывалый в России, девятый том «Истории государства Российского»: смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто именовавший тираном». Михаил Бестужев после ареста попросил принести ему именно эту книгу в тюремную камеру (и там обожженным прутиком написал иероглифы тюремной азбуки для брата Николая) и затем вспоминал, что, хотя ему было «очень хорошо известно» описание «зверского царствования Иоанна», он «предался чтению» с особым «чувством любопытства» и размышлял: не хотела ли его «судьба заранее познакомить с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что ожидает?»⁷

Тогда вдумчивым читателям стали ясны схожие суждения и в вышедших прежде томах «Истории» Карамзина, особенно в восьмом, посвященном первой половине государственного

Ивана Грозного. Они стали понимать, как и Пушкин — говоря его же словами середины 1820-х гг., — это «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия», казавшиеся «им верхом варварства и унижения», были «красноречиво опровергнуты верным рассказом событий», и научились соображать, что освобождение Александром I Историографа от цензуры было «знаком доверенности», обязывавшим автора к «скромности и умеренности» (VIII, 50). Если бы Карамзин не ограничился первоначально восемью томами, излагавшими события до трагических 1560-х годов, он бы не сумел выпустить в свет свой IX том и написать там: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народа: вселяет смерzenie ко злу есть вселять любовь к добродетели. И слава времени, когда вооруженный истиной деесписатель может в правлении самодержавном выставить на позор такого властителя. Да не будет уже впредь подобных! Могилы бесчувственны, живые страшатся вечного проклятия в Истории».⁸

Карамзина в последние годы жизни Александра I, как и прежде, причисляли отнюдь не к реакционерам, а к либералам. Особую неприязнь к нему питали те, кто преследовал тогда прогрессивно мыслящих профессоров, и в придворной камарилье, и от прямых нападок его оберегала лишь близость к императрицам — матери царя Марии Федоровне и к его супруге. Известный публицист князь П. В. Долгоруков передает рассказ Д. Н. Блудова о том, что после кончины Карамзина в мае 1826 г. министр просвещения адмирал Шишков советовал воцарившемуся Николаю I «запретить «Историю государства Российского» как будто «носящую в недрах своих зерна вредного либерализма» (собственное его выражение). Николай Павлович никогда не был прочь от того, чтобы преследовать, что бы то ни было и кого бы то ни было во имя самодержавия, но за несколько дней до смерти Карамзина он вследствие письма умирающей императрицы Елизаветы Алексеевны послал Карамзину великолепный рескрипт, а семейству пожаловал пенсию в пятьдесят тысяч рублей. Он не хотел перевершать сделанного им, и одно это обстоятельство спасло «Историю государства Российского» от запрещения, которому подверглись «Думы» и «Войнаровский» Рылеева и «Полярная звезда».⁹ Даже если Блудов или Долгоруков несколь-

ко сместили акценты, распространение именно таких разговоров показательно.

И, потому, употребляя ученую терминологию, некорректно приводить, характеризуя в общественно-политическом плане отношение к «Истории» Карамзина Пушкина и декабристов именно — или только — эту эпиграмму 1818 года при обнаружении многих других высказываний и Пушкина и декабристов. И вообще допустимо ли на основании оценки (да еще столь ранней) лишь части сочинений оценивать все сочинение? Это, пожалуй, шельмует самого автора эпиграммы не в меньшей мере, чем Карамзина: неужели молодой поэт ничего другого не увидел в первых восьми томах «Истории государства Российского»?

Воздействие Карамзина на юного Пушкина очень значительно, как и лиц круга Карамзина, ставшего и кругом самого Пушкина. И об этом немало написано,¹⁰ как и о том, что между Историографом и поэтом действительно произошел как-то разлад. Это явствует из писем Карамзина, Пушкин перестал посещать его дом. Но в 1820 г. Историограф облегчил участь молодого поэта, и его наказание ограничилось ссылкой на юг. А позднее Карамзин просил прислать ему из Михайловского «Бориса Годунова», — хотел познакомиться с новым произведением и — что, вероятно, самое важное, — заранее предохранить автора от царского гнева. Пушкин уже из ссылки в письмах к друзьям спрашивает о «семействе Карамзина», уверяет о том, что любит их «страстно», а верного друга В. А. Жуковского, особенно близкого к Карамзину, просит: «Введи меня в семейство Карамзина, скажи им, что я для них тот же...» (конец октября 1824 г.)¹¹ 27 мая 1826 г. Пушкин пишет Вяземскому из Михайловского, с вероятной надеждой на то, что адресат его ознакомит с содержанием письма Карамзиных: «Грустно мне, что не прошусь с Карамзным — бог знает, свидимся ли когда-нибудь» (X, 161). Пушкин предполагал, что Историограф уже скоро отправляется послом во Флоренцию; а он за пять дней до написания письма скончался. Впрочем, нельзя упускать из виду и признание Пушкина в горестном письме П. А. Плетневу, отправленном 21 января 1831 г. из Москвы по получении «ужасного известия» о кончине А. А. Дельвига; «Вот первая смерть мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалею о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига» (X, 261).

Письма Пушкина за июнь — начало июля 1826 г., в которых могла бы найти отражение его первая реакция на известие о кончине Карамзина, неизвестны. Но в письме от 10 июля тому же Вяземскому он бранит журнальные «статьи о смерти Карамзина»: «бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том «Русской истории...» (X. 163). Не случайно, конечно, и то, что в высших дипломатических кругах после гибели Пушкина вспоминали, что Николай I, вступив на престол, вернул его из ссылки» по настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта». ¹²

Особенно существенно то, что с Карамзиным общался Пушкин лишь в годы формирования его как великого поэта, когда не пробовал еще сил в прозе и не наступило время серьезных размышлений о взаимодействии настоящего и прошлого — влиянии прошлого на современность и воздействие современности на подход к явлениям прошлого, о долге и призвании Историка. И потому в плане собственно пушкиноведения велико значение проблемы «Карамзин в жизни и творчестве Пушкина после 1820 года, и особенно после кончины Историографа».

Важно отметить, что в середине 1820-х гг. Пушкин считал нужным не только написать о восприятии им в 1818 г. разом прочитанных первых восьми книг «Истории государства Российского», но и предать гласности эти воспоминания о впечатлении, произведенном сочинением Карамзина на людей общего — и Карамзина и его — круга. Он ощущал это своим долгом памяти Карамзина.

Быть может, это сделано было в такой форме и потому, что не изгладилось еще воспоминание об эпиграмме юного поэта? Ведь об эпиграмме шла речь и в его переписке с П. А. Вяземским 1826 г. Очевидно, что получающему все большее признание поэту, а после кончины Карамзина имеющему основание претендовать и на положение первого писателя России, важно было закрепить в общественном сознании определенное представление о его взаимосвязях с Карамзиным.

К «Истории государства Российского» Пушкин возвращался не раз, и уж безусловно работая над трагедией «Бо-

рис Годунов». В это время Пушкин с особым вниманием читал не только Библию и Шекспира (что указано в его письмах), но и «Историю» Карамзина. Тем более, что первая фраза предисловия к «Истории» обращает нашу мысль к Священному писанию. Пушкин поставил перед собой задачи, близкие к тем, которые были у Карамзина — историограф. Он стремился создать одновременно произведение высокохудожественное (поэтическое и драматургическое, что нашло отражение в размышлениях его об исторической драме и вообще о драматическом искусстве) и назидательное — в плане и общих положений высокой морали (о Добре и Зле) и государственно-политической нравственности.

«Борис Годунов» был едва ли не первым произведением художественной литературы столь масштабной формы, на создание которого вдохновила «История государства Российского» и которое основывалось преимущественно на ее тексте — основном и примечаниях. Об этом писали и литературные критики (в их числе и Белинский, и Чернышевский). Это детально выяснено Г. О. Винокуром¹³ и другими исследователями. «Гением его вдохновенный» труд Пушкин и посвятил «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина» с благоговением и благодарностью (V, 187). Пушкинская драма исходит и из важнейшей для историографа и очень дорогой ему мысли о Совести, отступление от правил которой — особенно преступление, убийство — нельзя оправдать никакими благими государственными деяниями и за которое последует возмездие. Это — и основа назидания правителям.

В то же время это драма не только о царе, но и о народе, и трагедия не одного царя, а народа, в чем убеждают и последние авторские ремарки: «Народ в ужасе молчит» и «Народ безмолствует». (V, 280). Заключение, выразившееся именно в «Истории» Карамзина. Следует подчеркнуть и то, что в письме к Вяземскому (X, 163) и в напечатанных воспоминаниях (VIII, дважды на стр. 49) Пушкин нарочито называет труд Карамзина «Русской историей». Для него это история не государства Российского, а прежде всего России, ее народа.

Пушкин, читая, — можно сказать, изучая — «Историю» Карамзина воспринимал и государственные мысли историка»

(VII, 436), и его манеру обращения к апофеграмм для внушения определенных соображений и для большего стилистического совершенства своего сочинения. Это ясно прослеживается в «Борисе Годунове» и тоже достаточно детально изучено. Думается, есть основание утверждать, что Пушкин проштудировал тогда не только IX, X и XI тома, но перечитал и предыдущие тома. Пушкин даже заимствовал характерное для текста карамзинского труда выражение: «это имя принадлежит истории». Именно так он написал и о самом Карамзине в письме Вяземскому от 10 июля 1826 г. «Карамзин принадлежит истории» (X, 163).

А в 1825 г. Пушкин писал Н. И. Гнедичу, завершающему перевод «Илиады», призывая обратиться к теме отечественной истории: «Я жду от Вас элической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? А Мстислав? А Донской? А Ермак? А Пожарский? История народа принадлежит поэту» (X, 100). Тут все ведет нас к Карамзину, к его «Истории» Карамзина. Названы имена доблестных героев, особо выделенных в «Истории» Карамзина. Можно не сомневаться, что также историограф склонен был сказать и о Пожарском в томе, которым намерен был завершить свой труд. Ибо еще в статьях 1802 г. в «Вестнике Европы» писал о подвиге Минина и Пожарского, предлагая воздвигнуть в их честь памятник. Высказывание Пушкина отражает, видимо, и его отношение к полемике историографом: посвящение «Истории» Карамзина заканчивалось словами: «История принадлежит царю»; будущие декабристы сформулировали в ответ: «История принадлежит народу». Пушкин же пишет о долге и возможностях Поэта как Историка.

Пушкинский «Борис Годунов», как и «История государства Российского» был адресован не только так называемому «хорошему обществу», воспитанному на образцах зарубежной литературы и говорившему преимущественно по-французски (напомним, что первые читатели обоих сочинений, это герои «Евгения Онегина» и «Войны и мира» Л. Толстого, эпопея которого и начинается французской речью). Но и другому читателю, которого за рубежом относили к «третьему сословию». А этот читатель был в той или иной мере знаком с так называемой Священной историей, и в его среде утвердилось представление о нравственном значении ее. Следовательно, в сознании его была уже заложена опреде-

ленная основа для восприятия и Российской истории — ее событий в их взаимосвязи, «исторических» личностей и их поступков — как «учительной» литературы.

В написанной для Николая I и по его заданию в 1826 г. записке «О народном воспитании» Пушкин четко формулирует: «Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину». Повторяет и императору знаменательного смысла слова из своих «Воспоминаний»: «История государства Российского есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека» (VII, 34; сравн. VIII, 50). Любопытно, что эта фраза заменила первоначальный текст черновой рукописи: «Его творение есть вечный памятник и алтарь спасения, воздвигнутый русскому народу» (VII, 431). Не попытка ли здесь в окончательном варианте изобразить деятельность историографа, его откровенное выражение своих суждений и осуждений как пример, которому хотел бы следовать и сам Пушкин — и в своих сочинениях и в своих отношениях с государем?

«История» Карамзина уже тогда стала для Пушкина не только базой исторических знаний, а также представлений о методике исторического труда и источником совершенствования художественного мастерства, но и школой государственно-политической мудрости («алтарь спасения»), что отразилось и в комментариях к выпискам из «Истории» и в размышлениях Пушкина такой проблематики. Так воспринимал это сочинение и В. А. Жуковский, когда задумывался над программой своей деятельности, став с 1825 г. воспитателем наследника престола будущего Александра II.

Можно полагать, что именно в середине 1820-х годов Пушкин убедился в том, что «Историю» Карамзина — как и другие подлинно великие сочинения — надобно с годами снова и снова перечитывать, поверяя собственный жизненный опыт, сопоставляя с новыми накопившимися знаниями и наблюдениями. В этом смысл замечания в неоконченной повести 1830 года «Гости съезжались на дачу»: Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы вслушались». Именно вслед за этим столь часто цитируемые слова: «Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». (Ими и обрывается повесть). (VI, 380). Еще ранее схожее рассуждение, причём со ссылкой на «Государственное правило», сформулированное Карамзиным, и напечатанном в 1827 г. под заглавием «Отрывки из писем,

мысли и замечания» (VII, 41). Та же мысль высказана Пушкиным уже применительно к самому Карамзину в статье 1830 г. об «Истории русского народа» Н. А. Полевого: «Уважение к именам, освещенным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного» (VII, 93). В этой критической статье, видимо, и к самому себе относит Пушкин замечание о Предисловии к «Истории» Карамзина, вслед за чисто повторяемым определением: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец», глубоко продуманные соображения об источниковедческой основе труда Карамзина, его методе «критики», позволяющем избежать «своевольных догадок». У Карамзина Пушкин позаимствует и оправлавшую себя систему примечаний в конце книги, готовя затем к печати «Историю Пугачева». Еще заметнее станет такой профессиональный подход «историографа» в период работы над историей Петра Великого. Тем более, что Пушкин, — подобно и Карамзину — не прошел никакой специальной ученой школы подготовки историка, и воспринимал, как и он, свою работу над историческими сочинениями как труд «писателя».

В те годы Пушкин много думает о том, что связано с «драгоценной для россиян памятью» Карамзина и в письмах, и в акафисте «высокому светилу» вдове историографа (1827 г.). Несомненно и то, что «История» Карамзина была темой разговоров Пушкина 1827—1828 гг. и с людьми не из круга, общего для него и семьи Карамзиных, — с историком М. П. Погодиным (1828 г.), с Алексеем Николаевичем Вульфом.

В те годы Пушкин — и поэт исторической тематики (пример, «Полтава») и уже начинает творить в себе историка. Вульф записывает 16 сентября 1827 г. разговор с Пушкиным в биллиардной об «Истории» Карамзина: он удивлялся тому, как «сухо» написал историограф о «героическом периоде нашей истории», о X веке — об Игоре и Святославе и сказал: «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского».¹⁴ И примеривается к образу историографа, от которого (или из сочинений которого), вероятнее всего, и узнал об «Истории о великом князе Московском» Курбского. Карамзин тоже рано начал творить в себе историка, во всяком случае не позднее того возраста (25—26 лет), когда сформулировал в «Письмах русского путешественника» задачи написания «хорошей Российской истории, то есть пи-

санной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием».¹⁵

К «Истории государства Российского» (а в какой-то мере, быть может, и к ранней публицистике Карамзина) восходит немало суждений и афоризмов Пушкина конца 1820-х — начала 1830-х гг.: об обязанностях и исторической роли дворянства, о взаимоотношениях государства и народа,¹⁶ о соотношении идеологии просветителей и действий народных масс (вспомним о емкой формуле, характеризующей террор Французской революции в стихотворении «К вельможе» — «Союз ума и фурий» — (III, 161). Даже все чаще повторяемые пушкинские слова о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном», напоминают апофею Карамзина: «Народ в кипении страстей может быть скорее палачом нежели судию».¹⁷ Иллюстрацией к этой мысли могли казаться и страницы в самом конце незавершенного XII тома «Истории», где характеризовалось убийство Прокопия Ляпунова.

С конца 1820-х гг. Пушкин примерялся к опыту Карамзина в журналистике — и в организации журнальной деятельности и в сфере жанров журнальной литературы. Несомненно влияние Пушкина на формирование представления о Карамзине, не только как о Колумбе Российской истории, но и как о зачинателе очень многого в нашей классической литературе и в журналистике, включая ее организационные формы. Именно так следует понимать его слова о Карамзине в черновом письме А. Х. Бенкендорфу 1830 г., т. е. по существу в письме официального типа: «Карамзин первый показал опыт торговых оборотов в литературе. Он и тут (как и во всем) был исключением из всего, что мы привыкли видеть у себя» (X, 497). (Подч. мною. С. Ш.). И, действительно, Карамзин — новатор и в становлении русского литературного языка, и первым попробовал силы в разных жанрах прозы и поэзии. Он — и первый пропагандист Шекспира в России и переводчик его драмы («Юлий Цезарь» — самого антигирианического произведения), и первым за три года до издания напечатал о значении «Слова о полку Игореве» и обосновал мысль, что в Древней Руси была недошедшая до нас великая поэзия. Карамзин — основатель первого русского литературного журнала — «Московского журнала», рассчитанного на сравнительно широкий круг читателей — и чего не знала прежде российская словесность — читательница. Основанный им «Вестник Европы» — родоначальник лите-

ратурно-политических журналов в России. С его инициативой связано возникновение первых в России литературных альманахов и хрестоматий. Подобное представление о Карамзине передалось и следующему за Пушкиным поколению, когда Белинский писал: «К чему не обратитесь в нашей литературе — всему начало положено Карамзиным: журналистике, критике, повести, роману, повести исторической, публицизму, изучению истории».¹⁸

Роль Пушкина в формировании расхожих представлений и современников, и потомков о месте Карамзина в развитии литературы и вообще культуры очень велика. И в поисках свидетельств тому не следует ограничиваться сохранившимися текстами Пушкина. Едва ли не большее значение имело устное общение. В ту пору высоко ценили искусство разговора в кабинетах и гостиных, тянулись к умной беседе, к спору; остроты, суждения быстро распространялись, полученные письма читали друг другу, да нередко и предназначались они не только адресату, как, к примеру, письма П. А. Вяземского. А сам Вяземский в «Современнике» — литературном журнале, издаваемом Александром Пушкиным (как обозначено было на титульном листе) — отмечал, что в разговорах русских гораздо более ума, нежели в журнальных русских статьях. Вообще ум наш природы изустной, а не письменной. К тому же в споре гостиных речь идет о мнениях...»¹⁹ (известны наблюдения Ю. М. Лотмана об особой роли «устной речи» в ту эпоху).²⁰ К мнению, к слову Пушкина, прославившегося и как остроумец, естественно, прислушивались со вниманием. Вероятно, следует попытаться определить «пушкинское» отношение к Карамзину в запечатленном — и в те дни и мемуаристами — без упоминания его имени, указаний на «разговоры Пушкина».

Пушкин не раз повторял, что «История государства Российского» «есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». Об общественном значении и направленности этого утверждения убедительно писали В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон. Это было сознательное противостояние канонизации Карамзина прежде всего под верноподданного, что нашло как бы зримое выражение в программе барельефов на памятнике, воздвигаемом историографу в Симбирске. Но это одновременно и путь самоутверждения своей независимости писателя (а, следовательно, и историка) и гражданина.

В формировании «высокого» представления о Карамзине роль Пушкина была не менее значительна, чем Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева. Оценки Карамзина «зрелым» Пушкиным особенно возвышенны: «Чистая высокая слава Карамзина принадлежит России» (VII, 278), «высокий пример Карамзина», «человек высокий», или оценка «благородства патриота» Карамзина в связи с намерением опубликовать его «Записку о древней и новой России», написанную «со всей искренностью прекрасной души, со смелостью убеждения сильного и глубокого» (VII, 254). В слове «высокое» — как отмечалось уже — осуществлялась кристаллизация декабристского идеала человека.²¹

При различии отношения к прошлому России, а, следовательно, и к изображению его историографом, подход к личности самого Карамзина в середине 1830-х годов явно сближает Пушкина с Чаадаевым, писавшим в 1838 г. о Карамзине: «...С каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество!...»²² Это ощущение Пушкина и его друзей (вернее сказать, друзей и Карамзина и его) передалось от них людям более молодым, не знакомым лично с историографом и подчас придерживавшимся даже совсем иных общественных воззрений. Так, Герцен отмечал в образе Карамзина «нечто независимое и чистое».²³ Яснее всего это выражено Гоголем в 1845 г. «Карамзин представляет точно явление необыкновенное... Карамзин первым показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно как именитейший гражданин в государстве... Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю!»²⁴

Диалог с Карамзиным продолжался до конца пушкинских дней. Быть может, с особой неотвязностью в последний трагический период жизни Пушкина, в 1836—1837 годы. В эти годы многое изменилось и в самом Пушкине и в сфере его интересов: «Бегут меняясь наши лета, // Меняя все, меняя нас» (III, 177). Пушкин все в большей мере становился историком, даже историческим мыслителем (пример, «Медный всадник»). Он, получив звание историографа, и официально мог восприниматься как наследник и продолжатель дела

умершего великого историографа. И, видимо, все чаще обращается к трудам Карамзина — и историка и журналиста, и мыслью к Карамзину-политику, к положению Карамзина в обществе и при дворе. Существенно и то, что и Карамзин примерно в том же возрасте принял окончательное решение «постричься в историки», или говоря словами Пушкина — «уединяется дабы писать свою Историю» (VII, 494).

Пушкин все в большей мере овладевает и профессиональными навыками историка—знатока и первоисточников и исторической литературы. К 1836 году у Пушкина сложились высокие требования к «ученым произведениям», рассчитанным на «знающих людей». Это—«плоды долгих изучений и терпеливых изысканий» (VII, 324). С этими высокими требованиями он подходит и к себе, готовя труд о Петре Первом и исследование о «Слове о полку Игореве»,—и от него ожидали именно исследования, в стиле шлецеровского «Нестора». Естественно, что это требовало нового прочтения «Истории государства Российского», ее примечаний, изучения методического мастерства Карамзина.

Снова приглядывался Пушкин и к тематике книг Карамзина. Он в это время рассматривал отечественную историю (как и отечественную литературу) в панораме развития мировой истории и культуры, и события рубежа XVII—XVIII столетий в ряду исторических явлений и предшествующего и последующего времени. В стихотворной форме это отражено в неоконченной поэме «Езерский», полностью основанной на знакомстве со всеми — именно со всеми — томами «Истории государства Российского», Пушкину приписывают составление и статьи об авторе «Истории Российской» В. Н. Татищеве — «Истории», тоже доведенной лишь до начала XVII столетия. С середины 1830-х гг. Пушкин особенно тянется к тем, кто профессионально занят изучением истории и литературы средневековой Руси.

Знаменательно хронологическое совпадение такой тяги Пушкина со временем усиленно возрастающего интереса к этому в обществе, с изменением отношения к допетровской Руси и ее памятникам — и письменным (именно тогда Археологическая комиссия начинает печатание актов русского Средневековья) и изобразительным, к фольклору, к истории языка. Это явственно прослеживается в сочинениях В. Г. Белинского.²⁵ Представления и Пушкина о культуре Древней

Руси существенно обогащаются и изменяются даже по сравнению с тем, как он думал еще в 1834 г. 19 октября 1836 г. он убежденно пишет П. Я. Чаадаеву: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с Вами согласиться» (X, 689). И не случайно, конечно, то, что последним творческим увлечением Пушкина (и отвлечением от волновавших его в канун дуэли мыслей, связанных с Натальей Николаевной) стало «Слово о полку Игореве». ²⁶

Обнаруживается ощутимо, как Пушкин, все это время обращается мыслью к «Истории» Карамзина, к образу поведения Историографа. Именно в 1836 г. публикует в «Современнике» «Отрывок из записок дамы» (ныне он известен под названием «Рославлев»), где, сравнивая развитие литературы в России с развитием ее «во Франции, Англии и Германии», утверждает, что в прозе имеем мы только «Историю» Карамзина (VI, 133). К имени Карамзина, к сочинениям Карамзина, к суждениям и напоминаниям о нем постоянно возвращается и сам Пушкин и другие авторы редактируемого им журнала «Современник». ²⁷ Он печатает заметку о «Ключе к Истории государства Российского» (т. е. указателях именном, географическом и терминологическом) П. М. Строева, высоко оценивает его, как «необходимое дополнение к бессмертной книге Карамзина» (VII, 334). Хлопочет об издании — хотя бы и не полностью — «драгоценной рукописи» записки «О древней и новой России» «великого нашего соотечественника» (VII, 359). Упоминает об этом неизданном сочинении, «важном для друзей его славной памяти», и в статье «Российская Академия» (VII, 254), где достаточно подробно рассказывает о том, что говорили на заседании 18 января 1836 г. о «великом писателе» (там же). О заслугах Карамзина пишет в статье «Мнение М. А. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (VII, 278). Печатает он в журнале и «Родословную моего героя (отрывок из сатирической поэмы)», фактологической основой которой является «История» Карамзина. Слова Карамзина ставит эпиграфом к статье «Александр Радищев» и по существу противопоставляет Радищева Карамзину — и их сочинения и их образ поведения. Он несомненно много говорит о Карамзине. И не потому, что часто бывает в салоне Карамзинных или получает сведения о происходящем там. А от того, что близ него находились тогда те же лица, которые были младшими друзьями историографа — прежде всего Жу-

ковский и Александр Тургенев. И именно они старались от-
вернуть его от мыслей, приближающих надвигающуюся беду.

В самых последних стихотворениях поэта — особенно в
«Из Пиндемонти», где он рассуждает: какая потребна ему
«свобода» — немало сближений с мыслями Карамзина.

Можно полагать, что Пушкин размышлял тогда
не только о творчестве Карамзина и его исторических и об-
щественных взглядах, но и о Карамзине — человеке и по-
литике, о его взаимоотношениях с обществом и с царской
фамилией, с друзьями и родными. Допустимо полагать, что
и в знаменитом стихотворении «Я памятник себе воздвиг»
Пушкин имел в виду и «идеальный» образ Карамзина. В рус-
ле волновавших его размышлений и апофегматического сти-
ля фраза, заключающая письмо к К. Ф. Толю 26 января 1837 г.,
в день, предшествующий дуэли: «Гений с одного взгляда
открывает истину, а ИСТИНА СИЛЬНЕЕ ЦАРЯ, говорит
священное писание» (X, 486).

Книгу, которую Пушкину захотелось открыть утром дня
роковой дуэли 27 января и о чем впечатление оставил в по-
следней собственноручной записке «...поневоле зачитался. Вот
как надобно писать...» (X, 486) — «История России в расска-
зах для детей» А. О. Ишимовой, где прошлое наше излагалось
именно по сочинению Карамзина. И когда умирающий
Пушкин попросил придти вдову историкографа Екатерину Анд-
реевну, это было расставанием не только с ней, но и со всем,
связанным с Карамзиным.

1) Рождественский С. Отечественная история в связи с всеобщей
(средней и новой). Курс учебных заведений. Изд. 14-е, СПб., 1903.
С. 177.

2) Покровский М. Н. Борьба классов и русская историческая лите-
ратура. П-д, 1923. С. 5.

3) Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.-Л., 1960.
С. 166.

4) Эпиграмму цит. по кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь
«умственные плотины». М., 1986. С. 57.

5) Разговоры Пушкина. Собрали С. Гессен и Д. Модзалевский. М.,
1929. С. 11.

6) Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 348.

- 7) Об этом см.: Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. С. 119 и сл.; Шмидт С. О. «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // Карамзин Н. М. История государства Российского». Кн. IV. М., 1988. С. 37—38.
- 8) Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. Стб. 259 (изд. 5-е).
- 9) Долгоруков П. Петербургские очерки. М., 1992. С. 273.
- 10) См.: Эйдельман Н. Я., Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XII. Л., 1986.
- 11) Цитаты из писем приведены в статье Н. В. Измайлова «Пушкин и семейство Карамзиных» // Пушкин в письмах Карамзиных. С. 18—19. Прим. 27.
- 12) Эйдельман Н. Я. Секретное донесение Геверса о Пушкине. // Временник Пушкинской комиссии. 1971. Л., 1973. С. 12, 16.
- 13) Пушкин А. С. Полное собр. соч., Том седьмой. Драматические произведения. Изд. АН СССР. 1936.
- 14) Разговоры Пушкина. М., 1929. С. 98.
- 15) Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 252.
- 16) Подробнее см.: Шмидт С. О. Общественное самосознание noblesse russe в XVI — первой трети XIX вв. // Материалы научной конференции «La noblesse russe du XVI-e au début de XIX-e siècle. Fonctions, Identités, Culture. Paris, décembre 1991 (в печати).
- 17) Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VIII. М., 1989. С. 79.
- 18) Белинский В. Г. ПСС. Т. 18. С. 174.
- 19) Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Второй том. СПб. 1836. С. 289 (статья о «Ревизоре» Н. В. Гоголя).
- 20) Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 29 и сл.
- 21) Макогоненко Г. П. О романтическом герое декабристской поэзии // Литературное наследие декабристов. С. 8—9.
- 22) Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 412.
- 23) Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 7, Л., 1956, С. 69, 191.
- 24) Гоголь. Собр. соч. Т. 7.. М., 1984. С. 232—233.
- 25) Подробнее см.: Шмидт С. О. А. С. Пушкин о «Слове о полку Игореве» // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 172—174.
- 26) Шмидт С. О. Перед дуэлью «Слово о полку Игореве» — спутник последних месяцев жизни поэта // «Неделя». 1989. № 32. С. 14.
- 27) Измайлов Н. В. Пушкин и семейство Карамзиных // Пушкин в письмах Карамзиных. С. 14.
- 28) Содержание доклада стало основой статьи «Диалог с Карамзиным» // Литературная газета. 1992. № 6. С. 6.

Л. Г. Шакирова

**ЕЩЕ РАЗ ОБ
«ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ РУССКИХ ЭПИГРАММ»**

Принято думать, что пушкинские слова: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе», сказаны по поводу главного труда Карамзина. Н. Я. Эйдельман утверждает, что эта фраза является прозаическим аналогом знаменитой эпиграммы «В его «Истории» изящность, простота...». Но не стоит забывать, что в вышедших в феврале 1818 года восьми томах «Истории государства Российского», строго говоря, о рабстве как крепостном состоянии, о его злоупотреблениях по сути речь не идет. Если Пушкин на самом деле читал эти тома, то не мог этого не заметить. Стало быть, и сама эпиграмма была направлена не столько против «Истории» (в восьми томах которой пока что лишь доказывалась идея необходимости самодержавия в целях обеспечения целостности российского государства), сколько против известной Пушкину исторической и политической концепции Карамзина в целом.

Поэтому более существенно на данном этапе выяснение другого вопроса: что могло спровоцировать Пушкина на критику карамзинских взглядов; ведь не реакция на чтение нескольких томов «Истории» заставила его написать эпиграмму?

Переписка Александра Тургенева с Вяземским многое проясняет во взаимоотношениях Карамзина и молодого Пушкина. На основании ее можно заключить, что Пушкин, начиная уже с мая 1818 года и все лето, вместе с Жуковским и Тургеневым часто навещают Карамзина в Царском селе, читают «хором» письма, присланные Вяземским из Варшавы, и случается, так же «хором» ему отвечают. В августе Вяземский просит Тургенева передать Пушкину его просьбу — написать эпиграмму на Каченовского. Тургенев в сентябрь-

ском письме не без тени удовольствия сообщает Вяземскому, что Пушкин «плюнул» уже эпиграммою на автора критической заметки в «Вестнике Европы», направленной против карамзинской истории. А еще раньше Пушкин пишет послание «К Жуковскому» («Когда к мечтательному миру»), в котором между прочим содержалась и поэтическая оценка «Истории» Карамзина. И если следовать этим общеизвестным фактам, то в первой половине 1818 года пушкинские высказывания звучат в унисон с мнениями Жуковского, Александра Тургенева и Вяземского. В этом смысле очень ценно свидетельство Погодина: «Арзамасцы почувствовали живее всех красоты нового творения... Дашков, Вяземский, молодой Пушкин приняли Историю государства Российского с таким же восторгом как и В. А. Жуковский». ¹ Стало быть, ничто еще не предвещает появления эпиграммы. Формального повода к ее написанию пока еще нет.

Во второй половине сентября зарядили дожди и 30 Карамзин извещает Вяземского, что к 7 октября думает переехать из Царского села в Петербург, мечтая пить чай все в том же привычном дружеском кругу — вместе с Жуковским, А. И. Тургеневым и Пушкиным. ² Это стремление — возобновить как можно быстрее общение — говорит само за себя — об особой сердечности и доверительности, установившейся между членами компании. Душевные теплота и близость между ними в это время как никогда.

Вяземский это чувствует. Он постоянно просит Тургенева держать его в курсе всех их умственных интересов, создавая таким образом фикцию и своего присутствия между друзьями. Так, в письме от 20 октября он интересуется, читали ли они номер гамбургской газеты, «в коем помещен разговор государя с генералом Мезоном». Ответ А. И. Тургенева не без иронии: «Разговор государя с Мезоном читали, а вместе с ним басню Арно». ³ (Запись в дневнике младшего брата Тургенева — Николая — дает представление о содержании этого разговора. Александр I говорит, что «все народы должны освободиться от самовластья», и что то, что он сделал в Польше, он хочет сделать и в других своих владениях... ⁴

Император при этом заверил генерала, что он (Александр I) «честный человек».

Вяземский в том же письме от 20 октября просит сообщить ему подробности о запрещении «Духа журналов», об-

ратив внимание на заметку в «Liberal»: «Правда ли, что этот журнал запрещен по причине напечатанной статьи в пользу рабства?» А. Тургенев в свою очередь разъясняет известные всей компании подробности: «Не «Дух журналов» запрещен, а запрещено по случаю напечатания в «Сыне Отечества» пьесы в пользу крестьян, писать про и contra свободы мужиков, как наших, так и иностранных, дабы тем не произвесть толков и не навлечь плетей на московских и провинциальных хамов». Это письмо Тургенев отправил приятелю 30 октября. В тот же самый день напишет Вяземскому и Карамзину. Вначале он выскажет мнение по поводу присланных Вяземским стихов о Петербурге (и прочитанных всеми членами компании — Жуковским, от которого Вяземский долго добивался отзыва, и А. И. Тургеневым, и Пушкиным). Карамзин дает совет Вяземскому о «переделке логической, а не политической» некоторых мыслей в стихах (курсив Карамзина). Но написав слово «политический», Карамзин как бы задумывается, вспомнив в эту минуту нечто важное, ибо следующие фразы принимают неожиданный смысловой оборот: «Между тем желаю знать, каким образом вы намерены чрез или в 10 лет сделать ваших крестьян свободными; научите меня: я готов следовать хорошему примеру, если овцы будут целы и волки сыты».⁵ Они брошены как бы невзначай, вскольз, но явно по определенному поводу на какие-то сравнительно недавние высказывания Вяземского (скорее всего содержащиеся в последнем письме к Карамзину, отправленному, возможно; в тот же день, что и Тургеневу, т. е. 20 октября). Правда, Барсков в примечании к письму Карамзина комментирует эти фразы иначе: что последний узнал от государя об участии Вяземского (наравне с графом Воронцовым и князем Меншиковым) в составлении бумаги, в которой предлагалось решение важного государственного вопроса об освобождении крестьян, хотя сам Вяземский в «Исповеди», на которую ссылается Барсков, точно обозначил эти события — июль 1819 года, а письмо Карамзина от 30 октября, т. е. задолго до этих событий. Стало быть, речь о другом. Именно о письме, полученном Карамзиным от Вяземского между 20 и 30 октября. Вяземский, видимо, после прочтения статейки в «Liberal» о запрещении «Духа журналов» выслал Карамзину, наряду со стихами о Петербурге, какие-то свои заметки о государственной необходимости освобождения крестьян в России, о составлении особого

комитета, который взял бы на себя решение этого вопроса и о своем намерении сделать шаги в этом направлении — отпустить крепостных людей на волю.

А поскольку письма Вяземского читались в тесном дружеском кругу, то не исключено, что Карамзин, пробежав его глазами, тут же по привычке процитировал выдержки из письма друзьям в присутствии Пушкина, высказав при этом свое отношение к проекту либерального родственника, которое по сути можно было бы свести к одному тезису: освобождение крестьян преждевременно. К этой мысли Карамзин пришел уже давно. Он детально изложил ее в «Записке о древней и новой России», поданной государю в 1811 году, ибо Александр в то время полагал, что освобождение крестьян в России может быть с успехом произведено только верховной властью самодержавца. Карамзин прозрачно намекает государю, что он далек от реального понимания вещей. «Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти Правительства».⁶ Но захотят ли этого землевладельцы? И удержится ли монарх на троне после такого деяния?

Второй момент, вызывающий особое беспокойство у Карамзина — желание государя «сделать земледельцев счастливее свободою». «Но ежели сия свобода вредна для государства?» — размышляет Карамзин в «Записке», ибо не вовремя данная свобода может привести к еще более ужасным последствиям. Уличные бунты — начало анархии, которая, по Карамзину, является самым страшным бедствием для государства. Карамзин в то время призывал государя быть здравомыслящим политиком, ибо сделать так, чтобы всем было хорошо (или, как заметит он в письме Вяземскому, «и овцы были целы, и волки сыты»), пока невозможно.

Вот эти данные аргументы Карамзин скорее всего и повторил в присутствии Жуковского, А. И. Тургенева и Пушкина после чтения письма Вяземского. «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы», — этой фразой открывается вторая часть воспоминаний о Карамзине. Разговор этот, видимо, состоялся между 20 и 30 октября, т. к. ответ Вяземскому, повторю еще раз, датирован 30 октября. Пушкин слушал неторопливые доводы Карамзина и тут неожиданно вставил реплику: «Итак, вы рабство предпочита-

ете свободе», приведшую обычно сдержанного историка в ярость. Ибо ничего обиднее предположения о приверженности его к крепостному помещицкому праву в этот момент для Карамзина не могло быть, он всегда восставал против злоупотреблений этого права. Пушкин по сути повторил здесь мнение «якобинцев» о Карамзине как политическом старовере. И Карамзин, дрожа от негодования, заметил ему: «Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили». Правда, спохватившись, что перешагнул границы дозволенного, он тот час же извинился за свою горячность перед молодым поэтом.

Пушкин дает этот эпизод в нейтральных тонах, и такая манера несколько усыпляет бдительность исследователей. А между тем обида Пушкина, получившего в тот момент ярлык клеветника, была не менее сильной, чем обида Карамзина. Даже по прошествии 8-ми лет Пушкин признавался Вяземскому, что «до сих пор» не может об этом «хладнокровно вспомнить». Ибо что может быть оскорбительнее ситуации для человека, при которой возникают сомнения в его порядочности и тем более в присутствии нескольких лиц. И Пушкин в письме к Вяземскому (от 10 июля 1826 года) скупно вспоминает о пережитом в тот момент потрясении, когда задета честь, глубоко оскорблено «и честолюбие и сердечная к нему (Карамзину. — Л. Ш.) приверженность». В данном случае нельзя даже вызвать обидчика на дуэль, хотя бы по причине разницы в возрасте. И тогда... появляется эпиграмма. В том же письме к Вяземскому Пушкин прямо говорит об этом факте, что она написана «в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя». После этого случая Пушкин перестал бывать в доме Карамзина, вплоть до весны 1820 года, когда, по выражению Карамзина, «сгустились тучи» над его головой. (В «Летописи...» М. А. Цявловского есть несколько неточностей, ибо в источниках, на которые ссылается автор «Летописи...», речь идет не о Пушкине, посещающего, якобы, дом Карамзина в 19-м году, а о его дяде Василии Львовиче). Письмо Екатерины Андреевны от 23 марта 1820 года красноречиво подтверждает, что прежний тесный круг распался. Друзья — Жуковский и А. И. Тургенев — посещают редко, а о Пушкине в основном знают по слухам от знакомых. С нескрываемой обидой говорит она о нынешнем состоянии семьи, оказавшейся в это время в полном одиночестве: «Вы видите, что наше положение плохо в

том обществе, которое посещало нас с большим постоянством».⁷

Итак, листы с воспоминаниями о Карамзине явно содержат намек на повод, обусловивший появление эпиграмм. Их недостаточно внимательно читают.

Свою авторскую принадлежность к эпиграмме Пушкин фиксирует дважды: в письме от 10 июля и в листках, содержащих воспоминания о Карамзине, что дает все основания предполагать, что листы были написаны приблизительно в то же время, что и письмо к Вяземскому, т. е. в первой половине июля 26 года, уж слишком очевидны смысловые переклички между ними и это обстоятельство вряд ли можно отнести к разряду случайностей.⁸

В письме в резкой форме, в какой была выдержана и записка Вяземского, Пушкин поставил ему следующий вопрос: «Кого ты называешь сорванцами и подлецами?» ибо отрицательная энергичность, вяземского выражения явно задевает нравственное чувство поэта.

А в листах Пушкин прямо называет наиболее известных оппонентов Карамзина — Никита Муравьев, Орлов. Последний был теснейшим образом связан с Вяземским. Именно ему писал М. Ф. Орлов дважды — в мае и июле 18-го года, пытаясь косвенным путем, через Вяземского, высказать Карамзину свои сомнения в органичной целостности его труда, а затем видимо, повторял свою критику в свете и в кругу задиристых оппонентов историографа. Именно в одном из писем Вяземскому он «пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян». Иронический подтекст, проskalзывающий в сопроводительном комментарии Пушкина по поводу высказанных Орловым предложений Карамзину, здесь очевиден: «Он требовал романа в истории: ново и смело!» Пушкин пытается подчеркнуть этой несколько язвительной репликой, что уже в то время не разделял подобных критик на Карамзина, имея свою собственную, отличную от приводимых, оценку деятельности его как историка: «Он рассказывал со всей верностью историка, он везде ссылался на источники, чего же было требовать от него?» И критические попытки Никиты Муравьева, «умного и пылкого», Пушкин расценивает в листках как умственное легкомыслие, ибо молодой критик покусился не на оценку содержания вышед-

ших томов «Истории», а всего лишь на не то «предисловие или введение», одним словом, на нечто такое, что вспоминается сейчас с трудом. Нет, все-таки вспомнил: «Предисловие!» И здесь можно заметить все тот же иронический тон, проskalьзывающий не только в «забывчивости» Пушкина, но и в определении главных характерных черт личности оппонента Карамзина, трудно сочетающихся друг с другом, ибо ум и пылкость в молодом человеке чаще взаимоисключают друг друга, нежели дополняют. Страсть, как правило, затмевает рассудок, способствуя предвзятости, односторонности мнений, а это Пушкин особо стремится здесь подчеркнуть: «Молодые якобинцы негодовали, несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».

В письме к Вяземскому, в самом конце его, Пушкин делает примечательную запись, что «бунт и революция никогда не нравились ему... но он был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков».

И здесь, в этой последней фразе, явный намек: при всем том, что он поддерживал отношения с политическими противниками Карамзина, тем не менее он никогда не был их единомышленником.

А в листах о Карамзине при внимательном чтении бросается в глаза намеренное противопоставление своей позиции «молодых якобинцев»: «Они забывали, что Карамзин печатал свою «Историю» в России...»

Он, стало быть, в отличие от них, помнил.

«Они не понимали что государь, освободив Карамзина от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности».

Он, в отличие от них, понимал.

Пушкин как бы все время хочет кому-то доказать (кому же как не Вяземскому?), что уже в то время видел в их суждениях мало гибкости, движения и что они более политические дилетанты, нежели достойные оппоненты Карамзина. (Не случайно в записке «О народном воспитании», написанной в скором времени после листов, посвященных воспоминаниям о Карамзине, Пушкин охарактеризует декабри-

стов как полупросвещенцев, намекая верховной власти, что она должна быть более снисходительной к заблуждениям столь еще незрелого ума). В листках о Карамзине особое место занимает эпизод, повествующий о забавах «остряков за ужином», переложивших «первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сыновей, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, конечно, были очень смешны». (Выделено в тексте).

Подробный пересказ этого переложения здесь явно не случаен. Не исключено, что Пушкин, оказавшись здесь (после неприятного светского эпизода у Карамзина), сочинил эпиграмму по следам этого переложения, прочитанного кем-то из «остряков». Ибо неслучайно вслед за описанием этой шутки следует фраза: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни». Таким образом, здесь проскальзывает незаметно намек на место и обстоятельства, при которых она возникла. Пародия «остряков» на Карамзина и эпиграмма Пушкина в содержательном плане различаются, но ассоциативные переключки между ними несомненны, что сказывается в совпадении некоторых деталей: и там, и здесь общий объединяющий момент — ирония по поводу утверждений Карамзина о спасительной миссии самодержавия; второй момент — в пародии намек на характер казни, придуманной Брутом для своих сыновей (вставших на сторону Тарквиния): их вначале высекли кнутом, а затем отсекли головы.

У Пушкина замыкающая стих фраза о «прелестях кнута» возникла, видимо, по ассоциации с упоминанием в пародии казни сыновей Брута.

Итак, Пушкин бывал в компании политических противников Карамзина. Но быть в компании вовсе не значит разделять убеждений ее членов — такова основная мысль, проводимая Пушкиным и в листках о Карамзине, и в письме к Вяземскому.

Исповедальные листы о Карамзине вовсе не предназначались для печати, как это принято думать.

И если Пушкин напоминает о тех деталях, событиях, лицах столь хорошо известных Вяземскому, то, стало быть, на-

деялся, что и эпизод, полунамеками обозначающий суть невольного конфликта с Карамзиным, должен был в свою очередь напомнить Вяземскому то, что он, кажется, сейчас напрочь забыл — свою либеральную молодость. И здесь почти ощутима ласковая усмешка Пушкина. Ибо, по признанию самого Карамзина, (в письме к Дмитриеву в 18-м году) Вяземский в то время «пылал свободолюбием» и находился в «пароксизме либерализма».

Все эти характеристики Вяземского, конечно же, были известны Пушкину, как в свою очередь Вяземскому были известны иронические высказывания Карамзина о либерализме молодого Пушкина.

Таким образом, Пушкин этим эпизодом хочет напомнить Вяземскому, что в ту бытность они стояли на одних позициях и что он, Пушкин, либерально настроенный, как и Вяземский, был в это время всего лишь сторонним свидетелем развернувшейся политической дискуссии, не принимая в ней деятельного участия.

Но поверил бы ему Вяземский, прочти он эти листы, вопрос особый. Итак, мне хотелось показать, что эпиграмму можно вписать в контекст известных материалов, проследить обстоятельства ее возникновения и уточнить датировку: она появилась в конце октября 18-го года.

-
- 1) Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Спб., 1866, Ч. 2. С. 209.
 - 2) Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С-Петербург, 1897. С. 65.
 - 3) Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, Т. 1, С. 133.
 - 4) Дневники и письма Ник. Ив. Тургенева за 1816—1824, Т. 3. Спб., 1921. С. 160.
 - 5) Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С. 65.
 - 6) Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. //Литературная учеба. 1988 № 4, С. 118.
 - 7) Пушкин по материалам Остафьевского архива. С. 475.
 - 8) Любопытно то, каким образом Пушкин пытался объяснить их появление на свет. Сообщив через сестру Вяземскому в Ревель, что у него сохранились «извлечения из записок своих относительно до

Карамзина», Пушкин, думаю, намеренно фальсифицировал давность их происхождения, видимо, из опасения, что Вяземский может заподозрить, что они писались «по свежим следам» одновременно с письмом в ответ на несправедливые упреки Вяземского на эпиграммы на Карамзина. Неслучайно, что эти листы он так и не показал Вяземскому, хотя они и встречались (после его возвращения из Ревеля) в Москве в сентябре 26-го года.

В. И. Сахаров

ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКА КАРАМЗИН И МОЛОДОЙ ПУШКИН

Мы давно и основательно привыкли к тому, что учителем Пушкина был Василий Андреевич Жуковский, и порой не замечаем, что наставник в письмах к юноше говорит не только от своего имени. Рядом с ним видна другая фигура, фигура историка Н. М. Карамзина, друга и учителя Жуковского. О роли и значении этих разных людей в судьбе молодого Пушкина лучше всех сказал поэт П. А. Вяземский.

Брата обнял в нем Жуковский,
И с сочувствием родным,
С властью, нежностью отцовской
Карамзин следил за ним...

(«Поминки», 1854).

Да, терпеливый мудрец Жуковский сделал для одинокого юноши из безалаберной, «неблагополучной» семьи больше, чем его брат, обаятельный и небесталанный бездельник и пьяница Левушка, а строгий Карамзин — больше, нежели отец, самовлюбленный и мнительный Сергей Львович. Эти «чужие» люди могли быть учителями и ближайшими друзьями Пушкина. Они ввели его в круг лучших русских умов, в литературную семью.

Мы не всегда помним, какой сложный смысл вкладывали люди той эпохи в стершиеся ныне от долгого и бездумного употребления слова «учитель» и «ученик». Было бы ошибкой понимать их как простое обучение писательскому ремеслу, хотя, конечно, было и это. Однако Карамзин и Жуковский видели в себе нечто иное.

Карамзин говорил Булгарину: «Людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами».¹ Ясно, что он имел в виду не только творчество, но и личность учителя, его веро-

вания, поступки и судьбу. Историк признавался в 1815 году А. И. Тургеневу: «Жить есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику...»

И слова его не расходились с делами. Вяземский писал тому же Тургеневу: «Карамзин создал себе мир, светлый и стройный, посреди хаоса, тьмы и неустройства».² То же говорил Вяземский учителю Пушкина Жуковскому: «Завидую твоей духовной бодрости и ясности души, которая есть и Божия благодать и вместе с тем благоприобретенная собственность, усвоенная всею прошедшею жизнью, правильными и постоянными трудами, хорошими хозяйственными распоряжениями и мерами в управлении собою и жизнью». Эти-то высокие качества души и ума и позволили Жуковскому и Карамзину стать учителями Пушкина.

В том-то и уникальность тогдашней эпохи: чтобы образовать национального гения, великого поэта, замечательного человека, русская жизнь должна быть выдвинуть людей высокой морали, культуры духа и дарование, которые, подобно оптинским старцам, воспитывали не только словом, но и делом, личным примером. Лучше других это понимал сам Пушкин, когда указывал в переломном 1825 году на необходимость для тогдашних наших писателей непрерывно работать над собой, делать из себя человека и творца: «Высокий пример Карамзина должен был их образумить».³

Сказано это в письме к декабристу А. А. Бестужеву и звучало как упрек. Бестужев ноту осуждения ощутил сразу и на пушкинский упрек позднее ответил характерным признанием: «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии». Взгляд Пушкина на историка был иной: «Историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец, — человек высокий, как выражался он».

Только мудрец с «прекрасной душой» (Пушкин) мог воспитать молодого поэта. А каков был ученик, мы знаем из относящегося к 1816 году отзыва директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта: «Его высшая и конечная цель — блистать и именно посредством поэзии. К этому сводит все и с любовью занимается всем, что с этим непосредственно связано... Его сердце холодно и пусто, чуждо любви и всякому религиозному чувству и не испытывает в нем потреб-

ности; может быть, так пусто, как никогда не бывало юношеское сердце».⁴

Обычно эту резкую характеристику замалчивают или приводят как образчик полного непонимания своенравного и свободолобивого пушкинского гения, не замечая, что отзывы директора о других лицеистах поражают точностью и проницательностью. Получается, что опубликовавший эти отзывы пушкинист Б. С. Мейлах лучше знал мальчика Пушкина, нежели директор Царскосельского лицея. Однако Энгельгардт был профессиональным педагогом, изучил до мелочей жизнь и нрав своих воспитанников, по-своему болел о них сухощаво-сентиментальной немецкой душой. Воспитать Пушкина он не мог, но «всегда порывистый, нервный, вспыльчивый» (А. М. Горчаков) характер мальчика этот учитель знал хорошо. В его словах есть реальная правда, их подтверждают отзывы лицеистов (М. Корфа).

Впрочем, стоит выслушать самого Пушкина, его признание В. И. Далю: «Вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я».⁵ На свою молодость он оглянулся в стихотворении «Воспоминание» (1828):

**Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.**

Не случайно эти красноречивые строки Пушкина и по сей день печатаются в разделе черновиков и не известны массовому читателю, чему неизменно находят научные объяснения, хотя все добросовестные текстологи знают прекрасно, что гениальное «Воспоминание» закончено, целостно, и разрезать его на две части не исторично и не научно. Однако этот автопортрет написан, замечательно верен, его надобно знать и помнить, говоря о молодости Пушкина.

Карамзину же портрет был не нужен, он знал своенравного, упоенного радостями жизни и «гибельной свободой» юншу и, подобно Энгельгардту, видел ясно в его мятежной душе опасное отсутствие порядка, меры и ясной цели: «Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия». Карамзин был отцом русского сентиментализма, открывшего и развивавшего богатства уединенной души, ставившего лич-

ное чувство превыше долга и логических подвигов разума. Сам лицеист Пушкин признавался в стихотворении «К Жуковскому» (1816), что историограф «приветливым меня вниманьем ободрил». Лицеисты свидетельствовали, что Карамзин знает Пушкина и «им весьма много интересуется». Впоследствии поэт вспоминал об этом времени: «Один из великих наших сограждан... удостоивал меня своего внимания и часто оспаривал мои мнения». Историк нашел, что «маленький Пушкин» остроумен, даровит, но живет минутными порывами и увлечениями.

Карамзин воспитывал юношу не прямым нравоучением и наставлениями, но именно примером, серьезным разговором на равных, самым умным и любезным общением. У Пушкина был перед глазами великий русский историк, его благородная личность, разумно устроенная жизнь труженика науки и творца, прекрасная семья, дом, духовный свет и спокойствие. У Карамзиных он общался с Вяземским, Петром Чаадаевым, Жуковским, братьями Александром и Николаем Тургеневыми. Для одинокого мальчика, запертого в лицейской келье, это было прежде всего воспитание чувств, за которым следовала строгая школа ума.

Домашние беседы и прогулки с историком по Царскому Селу дали Пушкину не меньше, нежели учеба в лицее. Напомним лишь слова известного мемуариста Ф. Ф. Вигеля о молодом поэте: «Его спасали от заблуждений и бед собственный сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся, чувство чести, которым весь он был полон, и частое посещение дома Карамзина, в то время столь же привлекательного, как и благочестивого».⁶ Дом — это и большая дружная семья, любовь и взаимное уважение, тепло; греющее душу.

Порывистому и озорному юноше все время грозила опасность, ибо от лицейских шалостей и смешных выходок он быстро перешел к писанию политических эпиграмм и либеральных стихотворений. Полиция, придворные и сам император Александр Павлович сразу же знакомились с этими пушкинскими сочинениями. После обычных школьных наказаний появилась реальная угроза ссылки в Соловки или Сибирь. И здесь неизменно вмешивался Карамзин с его огромным влиянием на царя и его семью.

В апреле 1820 года историк писал поэту и министру И. И.

Дмитриеву в Москву: «А над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде: однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет».⁷

В дело вмешались министр иностранных дел Каподистрия, Чаадаев, граф Милорадович, поэт Федор Глинка; этих просителей направлял и возглавлял Карамзин. Рассерженный царь сменил гнев на милость, и поэт поехал не на север, а на юг, к доброму генералу Инзову. Карамзин свидетельствовал: «Между тем Пушкин, был несколько дней совсем не в паническом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности; но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке!»⁸ Суровые слова, но надо помнить, что в переписке с Дмитриевым и Вяземским историк выступает тонким ценителем и строгим, но доброжелательным критиком юношеских поэм и стихотворений Пушкина.

Пушкин, как мы знаем, не исправился и из южной ссылки поехал сразу в северную — в село Михайловское. Но он быстро и разительно менялся, и Карамзин первый это заметил: «Пушкин в своей псковской ссылке готовит трагедию «Борис Годунов», а здесь печатаются или готовятся печатать его мелкие стихотворения. Вот наши надежды в засева...»

Надеждам суждено было оправдаться, но для этого нужно было, чтобы историк, к тому времени уже смертельно больной обратился в 1826 году к новому императору Николаю Павловичу с последней просьбой — вернуть Пушкина. Карамзин обладал такой умственной властью и авторитетом, что отказать ему было нельзя. Последовала знаменитая встреча царя с поэтом в Москве; Пушкин стал во главе лучших культурных сил России и всеми был признан первым поэтом страны, отеснив своего учителя Жуковского, этим несколько не обидевшегося.

Мы не всегда помним, какую роль сыграл в этом великий педагог и заступник Карамзин. Он с лицейских лет исподволь готовил перемены в характере, воззрениях и творчестве Пушкина. С самого начала Карамзин видел прекрасно, что одному ему с кипучей натурой молодого поэта не совладать. Здесь он был согласен с известной мыслью Жуковского: «Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет». Но одних учителей мало, нужна школа. И такая школа создана уже в 1815 году из молодых друзей и учеников Карамзина, главой ее становится все тот же Жуковский. Сюда приходит и Пушкин.

Карамзин как бы в стороне, со спокойной улыбкой прислушивается к шуму молодежи, он в их школе почетный гость, высший авторитет и попечитель. Но вот что историк говорит императору Александру Первому: «А знаете ли, Ваше величество, какая у нас самая полезная академия? Эта та, которая состоит из этих шалунов и молодых людей, шутя и смеясь высказывающих мне много полезных истин и верных замечаний».

Речь идет, конечно, о литературном обществе «Арзамас», которое в нашей пушкинистике традиционно представлено, как веселое собрание затейливых шутников, где демонстрировались разные «знаковые системы» писательского поведения. В своих мнимо торжественных заседаниях молодые люди поклонялись Карамзину, смеялись над литературными старoverами, читали пародии, смешные эпитафии и эпиграммы. Но собирались они не только для «сакральных игр» и жареного арзамасского гуся, эмблемы общества. На самом деле это была именно академия, учрежденная Карамзиным и Жуковским для воспитания юного Пушкина. Идея, как видим, очень серьезная. Ну а то, что и другие многое в этой школе почерпнули, само по себе не худо.

Конечно, арзамасские шутники веселились от души, как бы не ведая о своем высоком предназначении. Так оно и было задумано. Карамзин и Жуковский создали духовную среду, вольное общество молодых умов и талантов, образовавшихся в непрерывном общении и спорах. Знаем мы и о том, что было после «Арзамаса»: разногласия бывлых друзей, неизбежное размежевание, определение четких позиций в политической и литературной борьбе. Об этом сказал в

1825 году лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер: «Явная война романтиков и классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина».⁹ Так что вряд ли стоит именовать, «Арзамас» братством. Но школа такая существовала, принесла литературе немалую пользу и не относится к сфере гипотез. «Это была школа взаимного литературного обучения, литературного товарищества», — вспоминал Вяземский.

А раз была школа, значит, имелись и учебники — «Письма русского путешественника», «История государства Российского» и знаменитая записка «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (ее арзамасцы знали в изложении автора и в списках). Первая книга — учебник всемирной истории и литературы, вторая — учебник русской истории и литературы, третья — школа критического разума, трезвой политической мысли, ключ к первым двум. В такой последовательности надо читать их и нам.

Автор все тот же — Карамзин. Не станем утверждать, что его книги написаны только для Пушкина. Но несомненно, что поэт был и, по всей видимости, остался самым глубоким и благодарным их читателем. Его ответами на вопросы карамзинских учебников стали трагедия «Борис Годунов» и роман в стихах «Евгений Онегин», особенно его знаменитая десятая, «историческая» глава.

Известен особый интерес историка к «Борису Годунову», его совет молодому автору — показать двойственность, текучесть характера преступного царя, совет великого писателя, знатока и переводчика Шекспира. Меньше мы знаем об отношении Карамзина к «Евгению Онегину». Сохранилось свидетельство историка М. П. Погодина: «Как я рад одному известно, что Карамзин читал начало «Онегина». Имеется и другое «известие». Из письма Карамзина Вяземскому мы знаем, что в декабре 1824 года историк слушал поэму «Цыганы» и «нечто из «Онегина» в чтении Льва Пушкина, брата поэта, и заметил: «Живо, остроумно, но не совсем зрело...» Это не просто мнение, но и оценка доброжелательного и объективного учителя, выслушавшего поспешный ответ гениального ученика. Трагедии же о царе Борисе выставлен высший балл.

А если мы прочитаем сначала описание смелых действий «странного» (Карамзин) самозванца Лжедмитрия в роковом сражении при Севске в «Истории государства Российского»

и затем знаменитые строки из пушкинской «Полтавы» о вдруг, несмотря на тягостные предчувствия, двинувшем свои полки на русских героическом короле-авантюристе Карле Двенадцатом, то увидим, как и чему учится один гениальный художник-историк у другого. Так схоже передано у Карамзина и Пушкина внезапное движение и столкновение пестрых наемных армий, ведомых отчаянно смелыми полководцами, рыцарями авантюры, с защищавшими свою землю русскими войсками.

Разумеется, переключками и «влияниями» воздействие Карамзина на Пушкина не ограничивается. Вяземский вспоминал: «В Пушкине было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, пронизательность и трезвость».¹⁰ Такое творческое понимание могло сложиться лишь в строгой школе Карамзина, требовавшей критики исторических свидетельств, документов и устных преданий. Историк научил поэта видеть живописанное богатство кругообразно движущегося бытия и времени за сухими фактами и архивными выписками, и Пушкин говорил вполне в духе знаменитого предисловия к карамзинской истории: «По-моему, историческая правда есть настоящая поэзия, заключающаяся в самой жизни». И написал гениальную фантазию на темы «Писем русского путешественника» — стихотворение «К вельможе» (1830).

Пушкин добывал свою художественную правду и как поэт, и как историк, не чуждался «мелочного труда» (Карамзин) науки и так отзывался о своей «Истории Пугачева»: «По крайней мере я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни Силе, ни модному образу мыслей».¹¹ Ведь это и завет Карамзина-историка, его главный принцип, вызвавший нападки либералов и консерваторов и неудовольствие двух императоров. Все эти разные люди хотели одного: сделать историка своим слугой. Пушкин и Карамзин видели в себе нечто иное. Именно поэтому в их разговорах возникал и разумный спор, и Пушкин ответил на предисловие Карамзина: «История народа принадлежит Поэту».¹² Они оба были великими поэтами.

После гибели Пушкина Екатерина Андреевна Карамзина, вдова историка, писала сыну: «Он был жаркий почитатель

твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет».¹³ Ей вторил старый друг Вяземский: «Пушкин едва ли не более всех других писателей наших родственно примыкает к Карамзину и является прямым и законным наследником его». Навряд ли наши сегодняшние споры и даже новые находки смогут отменить или изменить что-нибудь в этих давних суждениях. Суть дела в них обозначена четко. Историк Карамзин навсегда останется для нас учителем и духовным отцом поэта Пушкина.

-
1. Булгарин Ф. В. Литературные вечера в 1819 году // Литературные салоны и кружки. М.; Л., 1930. С. 85.
 2. Цит. по: Н. Эйделман. Последний летописец. М., 1933. С. 130.
 3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937—1949. Т. XIII. С. 244.
 4. Мейлах Б. С. Характеристики воспитанников Лицея в записях Е. А. Энгельгардта // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III. М.; Л., 1960. С. 359.
 5. Даль В. И. Воспоминания о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. Т. 2. М., 1985. С. 262.
 6. Вигель Ф. Ф. Из «Записок» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. I, М., 1974. С. 219.
 7. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 286—287.
 8. Старина и новизна. 1897. Кн. I. С. 101.
 9. Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 498.
 10. Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 326.
 11. Пушкин. Т. XV. С. 226.
 12. Пушкин. Т. XIII. С. 145.
 13. Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 166.

В. Вацуро

ВСТРЕЧА

(Из комментариев к мемуарам о Карамзине)

Среди довольно обширной мемуарной литературы о Карамзине есть один небольшой очерк, который мы могли бы назвать литературным портретом. Автор его Фаддей Булгарин, стяжавший себе в истории русской литературы столь незавидную славу. Очерк этот, под названием «Встреча с Карамзиным», однако, ценили даже самые рьяные противники Булгарина за живость и занимательные подробности; поклонники же Карамзина уверяли, что его портрет написан Булгариным «так, как нигде и никем еще не был написан», и что эта «встреча» является для них «одною из приятнейших в литературном мире».¹ Даже И. И. Дмитриев, ближайший из друзей Карамзина, «досадовавший» на Булгарина за его нападки на историка, считал, что она «описана верно и прекрасно».² Эти воспоминания перепечатаны теперь в одном томе «Сочинений» Ф. Булгарина и доступны широкому читателю,³ который может поверить впечатления современников собственными наблюдениями и, без сомнения, оценит и увлекательность повествования, и драгоценные черточки быта, и детали, которых не найдет у других мемуаристов. Вообще, как бы не относиться к самому Булгарину, его «Встреча с Карамзиным» принадлежит к лучшим из современных рассказов об историографе. Биографы Карамзина постоянно пользовались им, и когда М. П. Погодин включил его уже в 1860-х годах в свой знаменитый труд «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников» по причине верности изображения, К. С. Сербинович, хорошо знавший Карамзина в его последние годы и даже исполнявший при нем обязанности секретаря, заметил на полях рукописи: «Я также нахожу вообще описание очень

верным, не отвечая только за верность приводимых здесь разговоров».⁴

Сербинович писал сдержанно, ибо он знал нечто Погодину неизвестное, но не считал нужным входить в объяснения.

* * *

Сербинович учитывал, что по прошествии нескольких десятилетий мемуары читаются уже иначе, чем в момент своего появления. Они утрачивают актуальность, которая вызвала их к жизни и направила авторское перо. С другой стороны, он знал и о некоей «сверхзадаче», которая наложила отпечаток на страницы очерка. В нем было важно не только то, что сказано, но и то, что не сказано, а также намеки и акценты, рассчитанные на посвященных. И наконец, в них была важна фигура автора. Она двойится: тот, кто действует, и тот, кто вспоминает и записывает, — уже разные лица; между ними пролегли годы и события, иной раз резко менявшие угол зрения и отношение к прошлому.

«Встреча с Карамзиным» имеет точную дату: зима 1819 года. Как мы увидим далее, эта дата очень существенна. Это был год, когда тридцатилетний польский литератор Фаддей (Тадеуш) Булгарин появился в Петербурге после десятилетнего отсутствия, чтобы уже остаться здесь навсегда. За его плечами была богатая и почти авантюрная биография, на которую он сделал глухой намек, упомянув о своих «странствиях по Европе». Он был сыном польского шляхтича, причастного к восстанию Тадеуша Костюшки (в честь которого и был назван); после разгрома восстания отец был сослан, семья лишилась средств, но победитель Костюшки генерал Ферзен взял под свое покровительство полюбившегося ему шестилетнего проказливого мальчика. Его воспитывают в Сухолутном кадетском шляхетном корпусе и семнадцатилетним корнетом Уланского полка он воюет против наполеоновских войск в Пруссии и Финляндии. Проходит шесть лет — и 8-й польский уланский полк, где служит Тадеуш Булгарин, в составе 2-го пехотного корпуса маршала Удино под знаменами императора отправляется в поход на Россию. Новый поворот судьбы — и бывший капитан наполеоновской армии, лишившийся средств к существованию, становится литератором; в Вильне его принимают в литературное товарищество «шубравцев». К «шубравцам» и ближайшему их окружению восходят и его литературные связи — с Осипом

Сенковским, будущим знаменитым «бароном Брамбеусом», с выдающимся историком Иоахимом Лелевелем.

Весной 1819 г. он приезжает в Петербург и уже в июне обращается за разрешением издавать в столице ежемесячный литературно-критический журнал для женщин на польском языке. Он собирается выпустить его «вместе с несколькими соотечественниками»: ⁵ он не знает еще никого из русских писателей. Н. И. Греч, познакомившийся с ним через несколько месяцев, вспоминал, что он каким-то образом попал «во французский круг у генерала Базена, Сенновера и пр., читал им свои сочинения, которые кто-то переводил ему на французский язык». ⁶

Таков был в мемуарах Булгарин «действующий».

* * *

Сцена меняется — и перед нами «Булгарин вспоминающий».

Он не любил самого Карамзина и невысоко ставил его «Историю». Исторические занятия были не чужды ему самому, и с 1822 года он начинает издавать журнал «Северный архив», где систематически публикует исторические статьи и документы. Когда вышли в свет первые восемь томов «Истории государства Российского», а затем и знаменитый девятый том — об «ужасах» Грозного, он примкнул к хору его критиков. Он обратился к Иоахиму Лелевелю, прося его написать критический разбор. Лелевель написал статью, не удовлетворившую Булгарина академичностью тона: ему хотелось хлесткой полемики, сенсации, скандала, привлекавшего подписчиков. Он льстил, интриговал и сам, и через третьих лиц, чтобы заставить критика «разругать» «Историю»; он уверял Лелевеля, что весьма влиятельные особы одобряют его критику и что пора поставить на место этого превознесенного всеми Карамзина, у которого нет ничего, «кроме трескучих фраз». ⁷ Наконец, он выступил сам, впрочем, соблюдая уважительный тон; он укорил Карамзина в пристрастном принижении заслуг Бориса Годунова. Карамзин, верный своему старинному правилу не вступать в полемику о своих сочинениях, не отвечал Лелевелю, не ответил и Булгарину, однако был задет. Он опасался, помимо всего прочего, что Булгарин — лишь «легкое, передовое войско», за которым

может двинуться мрачная и небезопасная по тем временам охранительная сила, уже вступавшаяся за Ивана Грозного.⁸

Когда Карамзин умер, Булгарин, уже известный журналист, издатель «Северной пчелы», решил собрать свои старые записи и напечатать воспоминания. Может быть, здесь был и тайный умысел — показать, что он никогда не был недоброжелателем историографа. Но он ничего не забыл и ни от чего не отказался.

Существует интереснейшая неопубликованная запись в дневнике уже известного нам К. С. Сербиновича, знакомого с Булгариным домашним образом. Под 2 мая 1827 г. читаем: «За столом, который начался устрицами, говорено о разном — о Польше и ее гокоsgach (мятежах) — о Карамзине — Булгарин поддерживает свои критики — я опровергаю их — спор — после обеда спор продолжался — Греч уснул на диване — но я с Булгар(иным) разговаривал долго: он показывает свои записи, где его разговоры с Карамзиным — отдает справедливость: его любви к просвещению, — и его искусству вести разговор. Хочу представить его в виде доброго немецкого пастора, окруженного семейством и друзьями».⁹

Именно так он и написал свои мемуары.

Он мог сделать это, не кривя душой: эти качества — просвещенность, доброту, благотворительность — он ценил в Карамзине и проповедовал в публике. Культурного же значения труда Карамзина он не коснулся вовсе, сделав лишь намек на свои с ним разногласия об историческом слого.

Булгарин писал быстро. Летом 1827 года очерк был готов и передан Дельвигу, издававшему альманах «Северные цветы».

* * *

«Встреча с Карамзиным» начинается с описания салона у некоего французского дворянина, содержателя аристократического пансиона, где по вечерам собирались литераторы-дилетанты читать свои сочинения на французском языке. Именно сюда попал молодой Булгарин, только что приехавший в Петербург.

По некоторым косвенным данным мы можем угадать в его описании дом барона Альфреда Жана Этьена Шабо, одного из преемников аббата Николая, образовавшего свой знаменитый католический пансион в Петербурге еще в екатерининское царствование. Репутацию пансиона Шабо усилению поддерживала газета «Conservateur impartial»; И. И. Давыдов, будущий профессор Московского университета, острил, что «Беспристрастный хранитель», как переводилось ее название, говорит в этом случае как пристрастный служитель («serviteur partial»). Ф. Ф. Вигель, мемуарист осведомленный, но также пристрастный, вспоминал, что «учение там было плохое, по-прежнему аристократическое: после французской литературы, только уже новейшей, главными предметами были танцы и фехтование». Дом Шабо находился в 3-й Адмиралтейской части, на Фонтанке, близ Обухова моста (ныне — участок дома № 117 по Фонтанке), минутах в сорока ходьбы от дома Муравьевой (ныне — Фонтанка, 25), где жил Карамзин.¹⁰

Из числа посетителей салона Булгарин упомянул лишь себя самого да «г-на Сен-Мора», с которым, по-видимому, приятельствовал. Когда в начале февраля 1820 г. он нанес свой первый визит издателю «Сына отечества» Н. И. Гречу, — визит, положивший начало их долговременному сотрудничеству, — он сделал это по просьбе Сен-Мора, которого аттестовал в разговоре как «человека необыкновенно умного, ученого и благородного, который намерен читать лекции о французской литературе».¹¹

Этот «г-н де Сен-Мор», Эмиль Дюпре де Сен-Мор, был французским литератором, ультра-роялистом, издавшим в Париже нашумевшую книгу сатирических стихов «Вчера и сегодня». Он приехал в Петербург летом 1819 г. и в короткое время перезнакомился с лучшими русскими литераторами: Крыловым, Дмитриевым, Гнедичем; он увлекся русской литературой и в 1823 г. издал в Париже свою известную «Русскую антологию». Русского языка он не знал, но российские поэты сделали для него подстрочники своих стихов; он умудрился даже получить от С. Л. Пушкина подстрочник фрагментов из «Руслана и Людмилы». Когда в марте-апреле 1820 и потом в 1821 г. он объявил курс своих лекций по французской литературе, на него записались многие из великосветского общества, а из литераторов — А. И. Тургенев и Карамзин с женой. Одна из лекций, прочитанная 5 марта

была посвящена Мольеру; она была напечатана в 1820 г. в русском переводе в «Сыне отечества».

Зимой же 1819—1820 гг. Сен-Мор «занимал петербургскую публику своими литературными вечерами, читая на оных лучшие произведения французской словесности с своими замечаниями»,¹² и совершенно естественным было его появление в петербургском французском аристократическом салоне на литературном вечере. В этот раз, как рассказывал Булгарин, «один известный русский чтец» должен был «декламировать сцены из мольеровой комедии» ожидалось прибытие «нескольких отличных русских литераторов» (668).

Имя этого чтеца мы можем назвать точно: Александр Алексеевич Плещеев, сын старинных друзей Карамзина, которым были посвящены «Письма русского путешественника»; меломан и поэт, писавший по-французски, композитор, актер, владевший в совершенстве искусством сценического чтения. В 1819 г. он служил в театральной дирекции, заведывая русской оперой и французским театром, а в 1820 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна сделала его своим личным чтецом. Он был участником «Арзамаса» и коротким приятелем Александра Тургенева и в особенности Жуковского; без сомнения, он был знаком и с Шабо: в свое время он окончил пансион Николая, а в начале 1820-х гг. жил в его доме. Быть может, следом чтения, о котором рассказывал Булгарин, были куплеты к нему Сен-Мора, процитированные Александром Тургеневым в письме к Вяземскому от 7 января 1820 г.: «Выльем за успех Мольера, которому его игра придала столь высокую цену».¹³ Вечер происходил, стало быть, где-то в декабре 1819 г.

В этом году Карамзин вернулся в город из Царского Села 21 октября. Уже начались холода, и озеро замерзло, а в декабре морозы доходили до 30°. С началом зимы он выезжал из дому редко, но здесь были случаи особых: чтение Плещеева, которого он знал еще юношей. Он явился, немного опоздав, когда чтение уже началось.

* * *

«...Началось чтение мольеровой пиесы, — рассказывал Булгарин. — Вдруг дверь в зале потихоньку отворяется, и входит человек, высокого роста, немолодых лет и прекрасной наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил

чтения, и, пробираясь за рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. Незнакомец никого не обеспокоил. Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда я видел его. Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и губы имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестили умом и живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выражала явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума. Отличительные черты его лица были две большие морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорил душе что-то сладостное, утешительное.

На его одушевленной физиономии живо отражались все впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда ттец дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, жертвовавшего иногда вкусу своего современного партера. Я не сводил глаз с незнакомца и измерял по его ощущениям свои собственные.

Дошла очередь до моей статьи. Она была написана мною вследствие моего спора с французами о немецкой трагедии и заключала в себе обзор и краткий разбор шиллеровых драматических творений. Прежде я хладнокровно представлял мои безделки на суд снисходительных любителей словесности, но на этот раз сердце мое забилося сильнее: я чувствовал, что в незнакомце имею знакомого и опытного судию. Во время чтения г-на Сен-Мора я с боязнью поглядывал на незнакомца и старался вычитать мой приговор на его лице. Счастье мне благоприятствовало: я с радостью приметил, что незнакомец был доволен.

Кончилось чтение, слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением подбежал я к хозяину, что-

бы спросить об имени занимательного незнакомца. «Это Карамзин!» — отвечал хозяин и поспешил к нему благодарить за посещение.

«Карамзин!» — воскликнул я так громко, что он обернулся и посмотрел на меня» (669—670).

...Этого человека историограф никогда не видел ни в свете, ни среди литераторов, хотя тот и другие были ему более или менее знакомы. Перед ним стоял «человек лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый».¹⁴ По его произношению и разговору было очевидно, что он не француз.

Сен-Мор представил его Карамзину. «Я согласен с вами насчет трагедии, — сказал он мне после первого приветствия. — Классики требуют слишком точного соблюдения трех единств; романтики отвергают все условия искусства. Вы справедливо говорите, что надлежало бы выбрать середину между двумя крайностями. Три единства слишком стесняют круг действия; соединение отдаленных эпох в драме развлекает внимание и ослабляет занимательность целого. Пусть появится другой Расин во Франции — и он сделает переворот в мнениях, либо людей должно убеждать не теориями изящного, а примерами». При сих словах Карамзин приятно улыбнулся и примолвил: «Я говорю не на счет вашей теории: говорить правду все-таки надобно. Следствия приходят после» (671).

Четырьмя годами позднее Булгарин напечатает в своем альманахе «Русская Талия» статью «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искусстве», где повторит некоторые общие идеи и даже формулы несохранившейся статьи, читанной им в 1819 году. Тремя единствами, напишет он, французы «стеснили круг действия своей драматургии». О романтическом театре и Шиллере в «Междудействии», впрочем, речи не было; вся вторая половина его была посвящена обоснованию необходимости русского национального театра. Статье возражали; Булгарин объявил, что часть ее, касающаяся французского театра, заимствована полностью из «Чтений о драматической литературе и искусстве» Августа Вильгельма Шлегеля — манифеста немецких романтических теоретиков; остальная часть — о русском драматическом искусстве — принадлежит ему.¹⁵ Карамзин булгаринских мемуаров оказался втянутым в спор «классиков»

и «романтиков», и занял в нём умерённую позицию — такую же, как и сам Булгарин, с мыслями которого он согласился.

Так Булгарин отвечал своим критикам.

Разговор их был недолог, — кое-что мемуарист опустил. «Карамзин сделал мне несколько вопросов насчет моего пребывания за границею...», — итак, он успел сообщить что-то новому знакомому о своей бурной биографии?

Он просил позволения посетить Карамзина и был приглашен к вечерним чаепитиям, начинавшимся в 9 часов — время отдыха и визитов в доме Карамзина. Через несколько дней он уже поднимался на верхний этаж дома Муравьевой на Фонтанке, близ Аничкова моста.

Его впустили без доклада. «В первой комнате, за круглым чайным столиком, на котором стоял самовар, помещалось целое семейство Карамзина; сам он сидел в некотором отдалении, в полукруге посетителей. Карамзин встретил меня в половине комнаты; дружески пожал руку, произнес громкою фамилию, представлял другим собеседникам, и просил садиться. В его приемах, обращении и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то необыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен» (672).

Здесь в воспоминания Булгарина входит тема цивилизации.

Социологи и философы XVIII—XIX веков считали одним из самых важных признаков цивилизованности искусство общения и беседы. Когда госпожа де Сталь в 1811 г. посетила Россию, она была разочарована, не найдя в светском обществе развитой культуры беседы. Это был для нее знак мало образованности и непривычки к интеллектуальному разговору.

Об этом потом напишет Пушкин в своем «Рославлеве».

Под пером Булгарина дом Карамзина представляет как маленький мир европейской цивилизованности. В нём все равны, и никому не отдано преимущество, а хозяин, как искусный дирижер спаивает в единое целое разнородные части, сближая между собой и «русских первоклассных чиновников», и «литераторов», и «иностранцев». «Он знал в

совершенстве искусство беседовать, — пишет Булгарин, словно отвечая г-же де Сталь, — которое вовсе различно с искусством рассказывать...» (673). И еще одно свойство присуще этому миру: он самобытен, а не подражателен; он сознает свою национальную принадлежность и гордится ею, не растворяя ее в общем потоке европеизированной культуры. Это было совершенно справедливо в отношении Карамзина, — но и здесь мемуарист преследует свою особую цель и начинает сгущать краски.

«Карамзин охотно говорил по-русски — и говорил прекрасно. Иностранные языки он употреблял только с иностранцами» (673).

Старик Вяземский, как и Сербинович, читавший в 1860-х годах книгу Погодина с этими мемуарами, поместил на полях рукописи: «В разговоре Карамзин, как и Пушкин, Жуковский и многие, употреблял французские слова, когда они удобно выражали мысль».

«В его речах, — продолжал Булгарин, — не было изысканных выражений и ссылок на авторов, столь утомительных в разговорах, но речения его сами по себе имели полноту и круглость; он никогда не изъяснялся отрывисто. Соблюдая вообще хладнокровие в разговорах, он воспламенялся только, когда речь заходила о России, об истории и об его старинных друзьях. Тогда физиономия его одушевлялась особенною выразительностью и взоры искрели» (673—674).

«Тут Булгарин авторствует», — иронически замечает Вяземский.

Булгарин «авторствовал» с умыслом. Он писал тогда, когда противники его уже открыто напоминали ему его службу во французской армии. Он намерен был показать им, что не уступит никому в приверженности национальным русским началам.

И он подробно пересказывает свой разговор с Карамзиным, в котором сравнивал Францию с финифтью, а Россию — со слитком золота.

«Один из собеседников распространился в похвалах веселости и уму французского народа. Карамзин сказал: «Вы правы; но в русском народе веселость и ум также врожденные качества. Немудрено веселиться под светлым небом

Франции, под тенью каштанов, среди виноградников, поблизости больших городов; но у нас, среди трескучих морозов, в дымных избах или в тяжком труде краткого лета крестьянин всегда весел, всегда поет или шутит. У нас без школ поселяне выучиваются самоучкою грамоте, и разряд наших сельских поэтов и романистов едва ли не многочисленнее класса привилегированных литераторов. Много ли можно насчитать тех счастливых, чьих сочинения сохраняются столь долго, как русские песни, и сказки? (...). Разговор обратился на русские сказки и песни, и Карамзин, объясняя красоты некоторых из песен и занимательность сказок, приподнял: «Я давно уже имел намерение собрать и издать лучшие русские песни, если возможно, расположив хронологическим порядком, и присоединить к ним исторические и эстетические замечания. Другие занятия отвлекли меня от сего предприятия, но я не отказался от него. Я недоволен всеми нашими собраниями; в них нет ни выбора, ни порядка» (674—675).

Эта запись точна; в конце 1820 года Карамзин почти буквально то же говорит Сербиновичу о «старинных русских песнях»: «Давно сам намеревался собрать лучшие и напечатать». И об этом же он упоминает в разговоре с фольклористом И. П. Сахаровым.¹⁷

Достоин внимания, что это намерение владеет историком в 1819—1820 годах, когда в «Сыне отечества», «Благонамеренном» и «Вестнике Европы» одна за другой печатаются статьи Н. А. Цертелева, посвященные «старинным русским сказкам и песням». Цертелев собирал фольклорные тексты и настаивал на издании именно песен. Одна из его статей прямо называлась «Об издании старинных русских стихотворений»; он сообщал, что им собрано уже 300 образцов, и пытался обосновать принципы отбора и публикации; он сетовал на малое внимание к народной лирике, отсутствие желания издавать ее и недостаточность старого издания Прача.¹⁸

В конце 1820 г. Карамзин затребовал из Публичной библиотеки именно это издание. Сохранился текст его расписки, данной А. Н. Оленину. Подлинник ее до нас не дошел: он находился в утраченной ныне коллекции рукописей Лейпцигской библиотеки:

«1820 года декабря 29 я нижеподписавшийся взял от его

превосходительства господина директора Имперской публичной библиотеки книгу «О русском народном пении», без заглавного листа, известную под названием «Песенник Праща», с тем, чтоб при первом востребовании возвратить оную в целости.

Н. Карамзин». ¹⁹

Он не только лелеял мысль об издании, но и предпринимал некоторые конкретные шаги. По-видимому, программа Цертелева казалась ему неудовлетворительной. Но изданию этому не суждено было осуществиться, как, впрочем, и цертелевскому замыслу.

Булгарин окончил свой очерк третьим, заключительным эпизодом. Спустя несколько дней после своего визита он встретил Карамзина ранним утром в одной из отдаленных улиц города. Была оттепель: «мокрый снег падал комками и ударял в лицо». Карамзин совершал свою обычную прогулку. Он объяснил Булгарину, что разыскивает дом полунищего чиновника, который не раз просил у него подавния именем голодных детей. Они вместе нашли квартиру и случайно повстречали хозяина; он был пьян. «Теперь буду умнее, — сказал благотворитель, — и не дам денег ему в руки, а в дом» (675—676).

В письмах Карамзина и основанных на дневниковых записях воспоминаниях Сербиновича есть упоминание о похожем эпизоде, или эпизодах. В конце октября 1820 г. Сербинович записывает: «При прощании Николай Михайлович дал мне адрес одного бедного отставного чиновника, Шелкунова, от которого получил он просительное письмо; я отыскал его с малолетними детьми близ Вознесения, в доме Шелковникова. Трудно было угадать, все ли правда, что он говорил о себе, но нельзя было сомневаться в том, что доказывали на руках его отмороженные пальцы; этому бедствию он подвергся в страшную зиму 1812 года. Николай Михайлович поручил мне передать ему 25 рублей». ²⁰

Через месяц, 28 ноября 1820 г., Карамзин пишет брату Василию Михайловичу в Симбирск:

«Бедному, который к вам писал, отдано только 25 числа, для того, что он более нагл, нежели беден, и здесь всем известен своими письмами; а вас прошу отдать за меня столько же рублей какому-нибудь симбирскому бедняку». ²¹

Вероятно, речь идет об одном и том же лице, а, может быть, и об одном и том же случае, если «25 число» в письме означает число предшествующего месяца. Может быть, впрочем, что бедняк-вымогатель решил получить деньги с обоих братьев и тем вызвал необычное раздражение, которое сквозит в письме к Василию Михайловичу. В рассказе Булгарина все проще и нагляднее, именно так, как происходит обычно в его романах и очерках: почти хрестоматийный пример человеколюбия, поднимающегося над человеческими слабостями и пороками. Мы не можем, конечно, исключить полностью, что Булгарин в самом деле был свидетелем описанной им сцены, — но не менее вероятно и то, что он создал ее сам на основе совершенно подлинных фактов, в которых ему был важен прежде всего их этический смысл.

Мемуарный очерк нес на себе явные черты художественного метода Булгарина. В нем были ведущие дидактические идеи, подтвержденные конкретными примерами. Таких идей было три: цивилизованность, патриотизм, филантропия. «Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и — благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!» (676).

Этот-то рассказ и передал Булгарин Дельвигу для «Северных цветов».

* * *

Никаких внешних причин отвергнуть статью Булгарина у Дельвига не было. Она была хороша и достоверна. Булгарин не напрасно, как мы видели, ограничился рассказом о 1819 году, когда полемики об «Истории» он еще не вел. Отношения же с Дельвигом и пушкинским кругом в 1827 году у него были вполне лояльны, и он печатался в «Северных цветах».

Публикации воспротивился Пушкин.

Он узнал о том, что она готовится, в июле 1827 года от ближайшего помощника Дельвига по альманаху Ореста Сомова, и 31 июля отправил Дельвигу, уехавшему в Ревель, возмущенное письмо: «...у вас Булгарин? Кстати: Сомов говорил мне о его «Вечере у Карамзиных». Не печатай его в своих «Цветах». Ей-богу, неприлично. Конечно, вольно со-

баке и на владыку лаять, но пускай лает она во дворе, а не у тебя в комнатах. Наше молчание о Карамзине и так неприлично, не Булгарину нарушать его. Это было б еще неприличнее».²²

Мы не будем сейчас разбирать подробно это письмо, о котором говорили специально и в другом месте. «Молчал» о Карамзине весь пушкинский круг: молчал, негодуя в то же время на печатные статьи, где шла канонизация идеального верноподданного, христианина, друга царствующего дома. Карамзин для его окружения был иным: великим тружеником, независимым в своем общественном поведении, исключительным явлением Литератора в чиновном государстве. Но прямо противоречить официально утвержденному канону было невозможно.²³

«Неприлиным» было то, что на фоне этого молчания Вяземского, Пушкина, Жуковского собирался поднять свой голос старинный неприятель историографа, преобразившийся теперь, после его смерти, в почитателя и чуть что недруга.

В «Северных цветах» на 1828 год» и так уже печатался полуофициальный некрологический очерк о Карамзине, принадлежавший перу соратника Булгарина — Николая Греча.

Когда-то автор этих строк высказал предположение, что та спешность, с какой Пушкин написал для «Северных цветов» свои знаменитые затем воспоминания о Карамзине, объяснялось необходимостью противопоставить их некрологии Греча. Но, может быть, такое объяснение недостаточно.

Может быть, — даже вероятно, мемуары Пушкина вытесняли мемуары Булгарина.

Пушкин писал об «Истории» Карамзина и только о ней. Знал ли Пушкин о содержании очерка Булгарина или нет, — в самых своих основаниях его воспоминания противостояли булгариновским. Карамзин был не «немецким пастором», а русским писателем и гражданином, а «История» его — общественным подвигом и «подвигом честного человека».

Два осмысления, две, если угодно, историко-культурные концепции вступали в противоборство.

Было бы очень интересно знать, под каким предлогом Дельвиг сумел отказать Булгарину, — не сказал ли он ему,

например, что в редакционном портфеле уже лежат воспоминания Пушкина?

Как бы то ни было, Булгарин взял статью обратно и, кажется, без особых неудовольствий, потому что в «Северных цветах 1828 года» напечатана другая его статья. Он не порвал, стало быть, связей с альманахом, что делал в тех случаях, когда считал себя оскорбленным. Он передал свой мемуарный очерк своему знакомому А. А. Ивановскому, издававшему в это же время «Альбом северных лир».

Парадоксально, но русская культура выиграла от этого несостоявшегося конфликта, и наряду с талантливой статьей Булгарина мы имеем набросок о Карамзине, носящий печать пушкинского гения. Но быть может еще более парадоксально, что этот последний мог бы сам собой и не появиться в печати, и что косвенным образом Булгарину мы оказались обязанными пушкинскими воспоминаниями о Карамзине.

1) Дамский журнал, 1828. № 7. С. 28—29; ср. Московский вестник, 1828. № 6. С. 198.

2) Дмитриев И. И. Сочинения. СПб., 1895. Т. 2. С. 299 (письмо к П. П. Свиньину от 15 апреля 1829 г.).

3) Булгарин Фаддей. Сочинения. М., «Современник», 1990. С. 668—676 (далее цитация по этому изданию с указанием страницы в тексте).

4) ГВЛ, ф. 231. Пор/1. 16.1 ж. Л. 79 сб.

5) См.: Skwarczynski Z. Tadeusz Bulharyn a wilenskie Towarzystwo Szubrawcow — Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynnosci: Posiedzen Naukowych. 1963. R. XVII, 8; Meiszutowicz Z. Powiesc obyczajowa Tadeusza Bulharyna Wroslaw — Warszawa — Krakow — Gdansk. 1978. Str. 13; Щебальский П. Материалы для истории русской цензуры. 1803—1825. — Беседы в Об-ве любителей российской словесности при имп. Московском университете. Вып. 3. 1871. С. 33—34; Рейтблат А. Видок Фиглярин. (История одной литературной репутации). — Вопросы литературы, 1990. № 3. С. 79—83.

6) Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.-Л., 1930. С. 683.

7) Письмо от 23 февраля 1823 г. // Попков Б. С. Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974. С. 26.

8) Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 391. (письмо от 18 февраля 1825 г.).

- 9) ЦГАЛИ, ф. 195 оп. 1 № 5586. Л. 30-30 об.
- 10) О пансионе и доме Шабо см.: Остафьевский архив, СПб., 1899, Т. 1. С. 638 (прим. М. И. Саитова); Русский архив, 1899. Кн. III. С. 550 (письмо И. И. Давыдова к А. А. Прокоповичу-Антонскому от 16 января 1819 г.); Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч. VI. С. 23; Аллер С. Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге, или Адресная книга на 1823 год. СПб., 1823 (Плещеев А. А.); Санктпетербургские ведомости 1825. № 48. С. 614 (о залоге каменного дома Шабо в Адмиралтейской части 3-го квартала, № 163). См. данные картотек Б. Л. Модзалевского и Н. Н. Фокина в ИРЛИ.
- 11) Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 684.
- 12) О Мольере. — Сын отечества, 1820. № 16. С. 152—159. Ср. Остафьевский архив. Т. 1. С. 388—389 (комм. В. И. Саитова).
- 13) Там же. Т. II. С. 4.
- 14) Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 684.
- 15) Русская Талия, подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год. Издал Фаддей Булгарин. СПб. (1824). С. 344; Северная пчела, 1825. № 14 (31 января); № 25 (26 февраля).
- 16) ГБЛ. ф. 231. Пог/1. 16. 1ж. Л. 82.
- 17) См. Трубицын Н. О народной поэзии в литературном общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. (Очерки). СПб., 1912. С. 330—332; Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. Т. I. С. 142—143.
- 18) Цертелев Н. А. Об издании старинных русских стихотворений. — Благонамеренный, 1820. № 8. С. 140; ср. также его объявление о готовящемся издании в «Сыне отечества» (1820. № 18. С. 277) и «Вестника Европы» (1820, № 8. С. 316).
- 19) Шляпкин И. А. Письма русских писателей, хранящиеся в Лейпцигской библиотеке. — ГПБ, ф. 865 ед. 142, Л. 6.
- 20) Русская старина. 1874. № 10. С.
- 21) Атены, 1858. Кн. 27. С. 60.
- 22) Пушкин. Полное собрание сочинений. (М.,-Л.), 1937, Т. 13. С. 334—335.
- 23) См. об этом: Вацуро В. З., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». Изд. 2-е, доп. М., 1986. С. 85—86.

Н. Д. Блудилина

ТОЛСТОЙ И КАРАМЗИН

В дневниковых записях периода «Войны и мира» Л. Н. Толстой представил развитие русской литературы в виде восходящей и ниспадающей кривой.¹ В начале синусоиды вписано имя Карамзина, в высшей точке параболы — Пушкина, в конце ее падения он поставил себя: «мы грешные».

Толстой и Карамзин и по рождению, и по судьбе принадлежали разным эпохам, их творчество разделяет «золотой век» русской литературы — «пушкинский период». Но оба они творили в переходное, переломное время для русской литературы: Карамзин у истоков подъема, всплеска ее развития. Толстой — перед его движением вниз: «парабола ушла под землю». Эта грань перелома в развитии, перехода в иное качество, высвечивает самое важное и существенное, стирая случайные второстепенные черты. Во внутреннем становлении русской литературы «пушкинского» периода главным и основным являлось то, что более всего сближает творчество Толстого и Карамзина: нравственный императив и стремление познать тайны исторического бытия народа.

Из всего карамзинского наследия Толстой выделил звучную с собственным умонастроением мысль — жизнь как делание добра: «Жить, есть не писать историю, не писать трагедии, или комедии; а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику; все другое, любезный мой приятель, — писал Карамзин А. И. Тургеневу в 1815 г., — есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов... Делайте, что и как можете: только любите добро; а что есть добро, спрашивайте у совести».² Толстой считал эти строки лучшим из всего написанного Карамзиным (64,267); ранее он писал Н. Н. Страхову: «...что такое добро — сущность жизни... сущ-

ность же жизни — то, что заставляет жить, есть потребность того, что мы называем неправильно добро» (62,24).

Внутренне сближение Толстого с Карамзиным началось с чтения Руссо*, Монтескье, Вольтера в студенческие годы, увлечения идеями просвещения о рациональном устройстве мира на идеальных основах. Толстой-студент брался к XVIII веку, написал разбор «Наказа» Екатерины, выбирая общую с сочинением Карамзина «Исторически похвальное слово Екатерине II» тему: формы государственного правления в соотношении к вечным основам нравственности. Идеальный монарх, считал Карамзин, не должен издавать законы не запрещающие «ничего, кроме вредного для общества».³ Толстой утверждал, что «закон положительный, чтобы быть совершенен, должен быть тождествен закону нравственному» (46,15).

18 ноября 1853 года Толстой начал читать «Историю государства Российского». «Слог очень хорош», — отметил Толстой в дневнике; предисловие с изложением взгляда Карамзина на предмет истории и ее задачи вызвало у него «пропасть хороших мыслей» (46,200). В течение месяца продолжалось чтение «Истории». 10 декабря записано в дневнике: «Окончив историю России, я намерен пересмотреть ее снова и написать замечательнейшие события» (46,298). В дневнике появляются записи исторических справок, событий из труда Карамзина; рядом Толстой излагает свои мысли о «сочинении истории» — так он озаглавил их. «Каждый исторический факт необходимо объяснять человечески и избегать рутинных исторических выражений», — записал Толстой 17 декабря 1853 г. и тут же прибавил: «Эпиграф к Истории я бы написал: «Ничего не утаю». Мало то, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая» (46,212). В этот период у Толстого появился замысел: «Составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь. Есть мало эпох в истории столь поучительных, как эта, и столь мало обсужденных... Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое, невиданное — совершенство» (46,141—142).

* В 1847 г. он написал «Философские замечания на речи Ж. Ж. Руссо». (1,226).

Десять лет спустя Толстой возвратился к историческому замыслу: обратился к эпохе Карамзина. Шестидесятые годы в чем-то напоминали «дней Александровых прекрасное начало» — те же иллюзии времени перемен, государственных реформ. В 1866 г. состоялось пышное празднование столетнего юбилея Карамзина, сопровождавшееся полемикой вокруг его имени и наследия между нынешними либералами, революционерами-демократами, и консерваторами, славянофилами. «Карамзин пал, устарел», — утверждали первые, другие собирали его письма, готовили материалы к его биографии. Толстой в это время писал «Войну и мир», в списке книг, необходимых для работы, собрание сочинений Н. М. Карамзина 1848 г., «Вестник Европы» за 1803—1804 гг. Толстой читал и новые издания 1866 г.; книгу М. П. Погодина «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии»; «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву» (17.576). В 1860-е годы Толстой не раз встречался с Погодиным, пользовался его материалами для работы над «Войной и миром», вел с ним беседы на исторические темы, возможно говорили они и о Карамзине.

Знал ли Толстой о планах Карамзина написать «Историю Отечественной войны»? Вероятно, т. к. об этом упоминалось в письмах Карамзина к И. И. Дмитриеву от 20 апреля 1814 г.: «Мысль описать происшествия нашего времени мне довольно приятна; но должно знать многое, чего не знаю»;⁴ и от 11 мая 1814 г.: «Я готов явиться на сцену со своею полушкою, и если буду жив, то непременно предложу усердное перо мое на описание французского нашествия; но мне нужны, любезный, сведения, без которых могу только врать: почему и буду просить их etc... Мы очень славны: авось будем и разумны; всему есть свое время».⁵ Среди бумаг Карамзина сохранились «Мысли для Истории Отечественной войны», раскрывающие замысел несостоявшегося сочинения. Оно должно было начаться с главных перемен «всего политического состояния Европы», вызвавших войну — с французской революции, «ее причин, изменений»; далее — история случайного возвышения Наполеона; «Политика России; Аустерлиц; Тильзит, Эрфурт»; война Наполеона «с нами».⁶ Заканчивалась «История» взятием Парижа. Но тогда еще не пришло время для исторического или художественного воплощения эпохи наполеоновских войн — слишком недалека бы-

ла дистанция, отстраненность от грозных событий для осознания их. По своим задачам, целям, обширности задуманного повествования замысел Карамзина был внутренне близок к эпосе Толстого.

Карамзин сам был исторической личностью, характерным деятелем эпохи, входил в круг исторических имен «Войны и мира». В черновых вариантах романа есть несколько упоминаний о знакомстве с ним литературных героев: «Он (князь Василий) виделся с умными и учеными, Карамзин был его друг» (13,166); Жюли Ахросимова пишет к дочери князя Волхонского: «В тот же вечер у нас ужинал Карамзин. Что за человек! Милый друг, я никогда не думала, что столько совершенства может быть в мужчине» (13,249). Карамзин был представлен как политик, консерватор, составитель знаменитой «Записки о древней и новой России», участник споров на страницах романа «о духе нового времени, о потребностях этого времени, о правах человека, о справедливости вообще, о необходимости разумности в устройстве государства», как защитник «старого порядка», «известного, привычного», «освященного временем» (13,672). В образе Карамзина на страницах черновых вариантов «Войны и мира» отражены в большей степени взгляд и понимание его личности современниками.

Создавая художественно достоверный образ «молодого периода царствования», в котором «все бывшее, прежнее кажется негодным», в котором, «кроме побуждения изменить надоевшее, дать разгуляться молодым силам, ...представляются еще бесчисленные причины, почему нужно уничтожить старое и ввести новое» (13,672), Толстой передает исторические взгляды Карамзина в контексте эпохи как архаические, отставшие от духа времени. «Записка о древней и новой России» — предмет политических споров в черновых вариантах «Войны и мира»: ее обсуждают на обеде у старого князя Н. А. Болконского, убежденного монархиста, ободряющего взгляды Карамзина: «Умный молодой человек, желаю быть знакомым» (13,807). Князь Андрей у Пьера в Петербурге беседует с ним о «Записке» Карамзина: для молодых либералов его монархические взгляды безнадежно устарели. В одном варианте романа Пьер, в других князь Андрей пишут возражение на это сочинение: «Он на ходившую тогда по рукам записку Карамзина о старой и новой России составил на французском языке записку, имевшую в извест-

ном свете большой успех. В записке этой на основании того же Монтескье, которого цитировал Карамзин, князь Андрей опровергал его» (13,692). При этом князь Андрей считал «Карамзина приятным писателем и стилистом». Пьер говорит Болконскому: «Я пишу возражение на записку Карамзина о старой и новой России. Он говорит, что учреждения вырабатываются веками, но я спрашиваю его во времени» (13,680). В окончательном тексте остается политический спор Андрея Болконского с князем Мещерским* и вовлечение Пьера в полемику «сперансистов» и «карамзинистов».⁷

В черновых вариантах романа Толстой допустил историческую неточность: действие происходит перед началом войны 1812 г., в это время «Записка» не была известна никому из современников Карамзина, кроме царя, которому она предназначалась, и великой княгини Екатерины Павловны, вдохновившей историка на ее написание. Позже, возможно, Карамзин передал ее список своим ближайшим друзьям: текст «Записки» был известен и П. А. Вяземскому, и А. С. Пушкину, мечтавшему напечатать ее в «Современнике».

Впервые «Записка» была издана за границей, в Берлине в 1861 г., в России — только в 1872 г. в «Русском архиве», но изъята цензурой, поэтому нет упоминаний о ней и в каноническом тексте «Войны и мира», и в переписке Толстого того времени. Как мог познакомиться Толстой с текстом «Записки», который он цитирует в черновиках романа? Возможно, в берлинском издании во время своего заграничного путешествия; или через окружение своей близкой родственницы и друга А. А. Толстой, постоянной посетительницы в молодости салона Карамзиных и состоявшей в дружбе с семьей Вяземских и Мещерских, светских знакомых и самого Льва Николаевича. Может быть, через археографа П. И. Бартенева, с которым Толстой сблизился в середине 1860-х гг. и предложил быть редактором и историческим консультантом в работе над «Войной и миром» (16; 76,115); или через историка М. П. Погодина.

На страницах черновых вариантов эпопеи пред нами предстает художественная проекция полемики вокруг «Истории государства Российского», относившейся к более позднему времени, чем действие романа. В 1811 г. Карамзин читал

* Толстой хорошо знал князя П. И. Мещерского, женатого на дочери Карамзина, Екатерине Николаевне (60,181).

отрывки из «Истории» в Москве своим близким знакомым, среди них В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин — все поклонники его таланта, будущие «арзамасовцы». Сохранились восторженные отзывы К. Н. Батюшкова в прозе и стихах.*⁹

В феврале 1816 г. Карамзин привез свой исторический труд в столицу. Предвосхищая будущие петербургские споры, К. Н. Батюшков из Москвы писал А. И. Тургеневу в январе 1816 г.: «Карамзин скоро будет у вас. Он и здесь ходит

Entre l'Olympe et les abîmes,
Entre la satire et l'encens.**

Что же будет у вас! История его делает честь России. Так я думаю в своем невежестве. Ваши знатоки думают иначе. Бог с ними!»¹¹ В сохранившихся фрагментах воспоминаний 1826 г. А. С. Пушкин писал об этом времени с «печатью вольномыслия»: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».¹² Л. Н. Толстой передал в «Воине и мире» суть полемики, отражавшей либеральный дух эпохи,*** несогласие молодого поколения с отжившими свое монархическими взглядами Карамзина, сознательно преувеличивая в тексте их консервативность: «А, вы говорите, что новый дух времени лучше, так я вам докажу, что при Иоанне Грозном русские были счастливее, чем теперь, — говорил Карамзин...» (13,673). В запальчивости спора «молодые якобинцы» считали историкографа реакционером, «гасильником». Андрей Иванович Тургенев откровенно говорил, что «он бо-

* К. Н. Батюшков писал Н. И. Гнедичу 13 марта 1811 г.: «Хочешь ли новостей? Карамзин опять в Твери, говорят, по приказанию государя. Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной, сильной прозы никогда и нигде не слышал».¹⁰ 19 марта в Твери через княжну историю передал царю «Записку о древней и новой России» — единственному ее читателю в 1811 г.⁸

** Между Олимпом и бездной // Между сатирой и фимнамом (фр.).

*** В конце 1860 г. Толстой «затеял... роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист» изнакомился «со всеми сведениями» о декабристах, в том числе с историческими материалами, печатавшимися тогда в «Полярной звезде» (60, 373—374); встречался с вернувшимся из ссылки декабристом С. Г. Волконским, И. И. Пущиным (60; 375,191).

йёе вредён, нежёли полёзен нашей литературе».13; Николай Тургенев утверждал, «еще ничего не читая», о труде Карамзина, «что мы будем лучше знать facta русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противного».14 «Умный и пылкий» Никита Муравьев, изучив восемь томов, сверив источники, написал критический разбор предисловия к «Истории», в котором последовательно опровергал монархическую концепцию Карамзина.15 В вариантах «Войны и мира» подобное сочинение — возражение на «Записку» Карамзина (см. выше) — составляют главные герои романа Пьер и Андрей.

Отдав дань художественному воспроизведению полемики по злободневным проблемам времени, Толстой подвел неожиданный итог: «И те и другие думали, что судьба человечества и наверно России и всех русских зависит от разрешения их спора... Никому, кроме тех которые в споре о том находили счастье жизни, не было никакого дела» до их проектов; «Жизнь с своими существенными интересами», как и всегда шла вне политики, отражающей внешнюю сторону социального бытия (13,673). Это рассуждение дойдет до окончательного текста.

В черновиках «Войны и мира» Толстой создал соответствующий пониманию и духу описываемой эпохи поверхностный образ Карамзина, расходившегося с либералами по политическим вопросам. Истинный образ историкографа, во многом не понятого и не дооцененного своими молодыми современниками, далекого от злобы дня, погруженного в исследование глубинного течения истории, прозревавшего внутренний смысл событий, остался в подтексте романа: в восприятии и наследовании Толстым русской традиции исторического мышления и исторических воззрений — русской философии истории.*

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятель-

* Долгое время существовало априорное мнение, что Карамзин относится к тем историкам, с которыми не соглашался Толстой, создававший самостоятельную историческую концепцию. Основанием для этого вывода служило высказывание писателя, записанное Д. П. Маковицким, что Лев Николаевич не любил «Историю государства Российского» «за придворный тон».

ности: скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», — утверждал Карамзин.¹⁶ Толстой продолжал и развивал эту мысль: «Предмет истории есть жизнь народов и человечества»; «Цель истории — знание движения человечества».¹⁷ Перед нами внутренний монолог единомышленников, убежденных, что разгадка тайн исторического процесса в исследовании духовной истории народа, являющейся основой роста, изменения, развития, становления нации. Историк-художник противопоставляет неодоушевленной материальной истории, пресной, безликой, скучно повествующей о количестве убитых, занятых городов и т. д., которая столь мало дает для исторического самоопознания нации, — историю-искусство. «Что же остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? — размышлял Карамзин о историко-художественном творчестве, — порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом».¹⁸ Толстой соглашался: «Что делать истории? Быть добросовестной. Браться описывать то, что она может описать, и то, что она знает — знает посредством искусства. Ибо история, долженствующая говорить необъятное, есть высшее искусство. Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история-искусство..., как и всякое искусство, идет не вширь, а в глубину...» (48, 125—126).

В эпилоге «Войны и мира» Толстой рассматривал важнейшую историко-философскую проблему — соотношение между свободной деятельностью людей и исторической необходимостью, складывающейся как равнодействующая многих миллионов человеческих свободных волей. И здесь мы видим внутреннее сходство со взглядом на историю Карамзина, утверждавшего: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновником великих происшествий! Велик тот, кто чувствует свое ничтожество — пред Богом!»¹⁹ И толстой, и Карамзин признавали свое незнание исторических законов, их непостижимость, для них историческая необходимость переходила в предопределенность, таинственную волю Провидения. Карамзин сравнивал исто-

рию с «се concert olivin, gu'on appelle hazard, fatalife, sort aveugle» 19.X) Толстой писал о «мистическом движении вперед», которое нужно воспринимать «без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что мы и зачем, и только смиряться надо» (48,121; 62,27). Но оба понимали русскую философию истории как единый духовный процесс и единое внутреннее развитие нации: «Весьма трудно созерцать жизнь прошедших поколений без снисходительной улыбки взрослого к играм детей. А это-то сознаваемое превосходство есть главный источник заблуждений и непонимания прошедшей жизни... в чем мы всегда одинаковы, есть сущность жизни» (48,121).

* «божественный концерт, который именуется случаем, неизбежность, слепая судьба» (фр.).

- 1) Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 тт. М., 1949. Т. 61. С. 274—275. (Далее в тексте с указанием тома и страницы).
- 2) Карамзин Н. М. Сбор. соч. в 3-х тт. М., 1848. Т. 3. С. 737.
- 3) Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине Второй, сочиненное Николаем Карамзиным. М., 1802. С. 71.
- 4) Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 180.
- 5) Там же. С. 181.
- 6) Карамзин Н. М. Незданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. I. С. 192—183.
- 7) Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х тт. М., 1979. Т. 2. С. 26.
- 8) Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. III—VI.
- 9) Батюшков К. Н. Соч. в 2-х тт. М., 1989. Т. 1. С. 211.
- 10) Там же. Т. 2. С. 159.
- 11) Там же. С. 371.
- 12) Пушкин А. С. Полное собр. соч. в 10-ти тт., М., 1958. Т. 8. С. 67—68.
- 13) Фомин А. А. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Русский библиофил, 1912. № 1. С. 27.
- 14) Тургенев Н. И. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.,-Л., 1936. С. 203.
- 15) Декабристы-критики «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Литературное наследство, 1954. Т. 59. С. 586—598.
- 16) Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1818. Т. 1. С. 9.
- 17) Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х тт. Т. 7. С. 309, 313.
- 18) Карамзин Н. М. История.. Т. 1. С. 12.
- 19) Карамзин Н. М. Незданные сочинения.. С. 197.

В. П. Старк

**«ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
В ПРОЧТЕНИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ**

«Я всегда радуюсь, когда слышу, что сочинения мои приносят пользу или удовольствие благородным душам».
Карамзин.

Сопоставление имен Карамзина и Цветаевой только на первый взгляд может показаться странным. С Карамзиным у Цветаевой сложились свои устойчивые отношения. В ее библиотеке имелся экземпляр «Истории государства Российского», читая которую она делала выписки в особую тетрадь, а затем написала цикл стихов о своей «соименнице» — Марине Мнишек.¹ Другим свидетелем подобного общения Цветаевой с Карамзиным является случайно уцелевший том «Писем русского путешественника», некогда принадлежавший Марине Ивановне. Это первый том восьмого издания «Писем» 1884 года, напечатанный в Петербурге типографией А. С. Суворина. Изданные самим автором впервые в 1791—92 годах, они выходили до 1848 года семь раз, после чего наступил длительный перерыв. А. С. Суворин снабдил свое издание «Писем» собственным предисловием и статьей академика Ф. И. Буслаева. Последняя повторяет речь, произнесенную ученым в Московском университете 1 декабря 1867 года на праздновании столетия со дня рождения Н. М. Карамзина.

Книга сопровождается гравированным портретом автора «Писем», проиллюстрирована пятью изящными гравюрками в тексте с монограммой «А. В.» и воспроизведением титульного листа первой части издания 1797 года, напечатанного в московской университетской типографии. Хотя и выпущенная в серии «Дешевая библиотека», книга выполнена на высоком типографском уровне, заключена в твердый переплет с золо-

тым тиснением на кожаном корешке.

В верхней правой части титульного листа книги в две строчки фиолетовыми чернилами четко выведено:

Марина Эфронъ

Москва, 21-го февраля 1912 г.

Нет никакого сомнения в том, Марина Эфрон — это Марина Цветаева: 27 января 1912 г. в Москве состоялась ее свадьба с Сергеем Эфроном. И хотя позднее М. Цветаева всегда будет подписываться своей девичьей фамилией, но тогда в первый месяц замужества, ощущая свое единство с мужем, она подписывается его фамилией. Убедиться в том, что надпись сделана рукою самой Цветаевой, не составляю труда. Даже неискушенный глаз, не говоря уже о специалистах, сопоставив почерк, написавшей книгу с опубликованными автографами Цветаевой убеждает в несомненности того, что это ее рука.

Книга является в настоящее время собственностью Н. К. Телетовой (Санкт-Петербург). Том «Писем» Карамзина с автографом М. Цветаевой был куплен ею в букинистическом магазине Свердловска в сентябре 1952 г. Штамп Свердловкниготорга свидетельствует о том, что магазином книга была приобретена 5 июля того же года. Стоимость приобретения обозначена в двадцать пять рублей. Для того времени это довольно высокая цена, тем более, что сдан был лишь один том из двухтомника. В 1952 году не представило бы особого труда отыскать предыдущего владельца по ясно видному номеру квитанции — «3566». Теперь же, спустя сорок лет, это уже невозможно. Остается предположить, что книга была сдана в магазин кем-то из свердловчан, кому она досталась во время войны от неизвестных эвакуированных москвичей.

В том, что 21 февраля 1912 года — день покупки М. Цветаевой «Писем» — убедилась еще Н. К. Телетова, послав письмо-запрос ее дочери Ариадне Сергеевне Эфрон. Это было уже в начале ноября 1968 года. Поскольку в данном случае ответ имеет особое значение, приводим его полностью:

14 ноября 1968 года.

Многоуважаемая Наталия Константиновна! Думаю, что «21 февраля 1912 г.» — просто дата покупки книги, являющейся и в то время букинистической редкостью. В ранних

рукописях, письмах, дарственных подписях (и пр.) МЦ любила подчеркивать даты (все даты) — волнистой линией — как бы «подводя итог» письму, стихотворению, прожитому дню. Впоследствии даты уже не подчеркивались — приблизительно с 1916—1918 гг.

Во всяком случае ни о каком особом значении 21 февраля вообще и 1912 г. в частности (т. е. данного дня в данном году) — мне ничего не известно.

Всего Вам самого доброго

А. Эфрон.

Именно так — «волнистой линией» — подчеркнута дата и в интересующей нас книге. И даже если нам ничего больше не известно об этом дне в жизни М. Цветаевой, мы можем сказать, что в этот день она купила книгу «Писем» Карамзина, а приобретение книги само по себе для нее всегда было радостью. «Встреча с поэтом (книгой) для меня радость, ниспосылаемая свыше», — писала М. Цветаева.

Штамп на фронтисписе книги позволяет установить и место покупки: «Книжная торговля П. В. Яковлева, Москва против Тверской часовни». До какого же времени принадлежало это издание «Писем» М. Цветаевой? Скорее всего до ее отъезда за границу, после чего оказалось в чужих руках. Уточнить этот немаловажный момент в истории книги помогло неожиданное открытие. Штамп свердловского магазина отпечатался на другой стороне, а в свою очередь рядом с цифрами штампа видны отпечатки каких-то цифр или букв, прописанных другими чернилами. В зеркальном отражении прочитывается: «2 т.». Остальное видно неразборчиво, тем более, что сливается с оттиском штампа. Откуда взялся этот отпечаток? На соответствующей стороне, где должен быть его оригинал, нет никакой записи или следов подделки. Зато есть аккуратно наклеенный прямоугольничек бумажки, под которым обнаруживается запись старыми выцветшими чернилами — «2 т.», а под нею — «50 к.» и короткая неразборчивая подпись. Отпечаток на противоположной стороне точно соответствует этой надписи — по расположению и цвету чернил. Надпись несомненно означает, что цена двух томов определяется в 50 коп. и принадлежит оценщику магазина. Консультация у известного библиофила, ныне покойного М. С. Лесмана, помогла установить, что столь низкая цена для такого двухтомника могла быть установлена лишь в годы НЭПа — 1922—1928 гг.²

Правда, до сентябрьской денежной реформы 1922 года цена на книгу выражалась в миллионах или цифрой с несколькими нулями. Сама Цветаева, уже решившаяся эмигрировать, в октябре 1921 года в письме И. Эренбургу называет сумму, необходимую ей для проезда до Риги в десять миллионов, и пишет: «Продав Серезину шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и две книги (сборник «Версты» и «Феникс. Конец Казановы»), с трудом наскребу 4 миллиона, да и те навряд ли...»³ Поскольку М. Цветаева уехала за границу 11 мая 1922 года, то значит, что «Письма» принадлежали ей только до этого времени и были проданы кем-то уже после ее отъезда.

Как пишет А. Саакянц: «Библиотеку свою (так же как и рукописные тетради) она оставила сестре Анастасии (...); некоторые же книги Цветаевой попали к Н. А. Нолле-Коган...»⁴ Они или кто-то еще и продал двухтомник в период НЭПа. Таким образом, Цветаева владела этим изданием десять лет — с 1912 года по 1922 г. Такова история книги, поведенная ею самой.

Внимательный просмотр тома «Писем» позволил обнаружить, а частью и восстановить пометки, сделанные некогда Цветаевой. Общее их число — семьдесят пять. Отчеркнуты иногда целые абзацы, против отдельных мест поставлены крестики. Сделаны пометки по большей части фиолетовыми чернилами, тонким пером, реже простым карандашом, в двух случаях красным. А. Саакянц писала о цветаевской манере общения с книгами: «Вообще с книгами, будь то свои или чужие, Цветаева могла обращаться, можно сказать, с истинно антибиблиофильским темпераментом: она делала не только карандашные, но и чернильные пометы на полях, полемицировала с автором, ставила знаки вопроса, восклицания и т. п. (...) Пометы же говорили отнюдь не о небрежности, а как бы воочью демонстрировали отношения Поэта с Книгой. Марины Цветаевой с данной книгой».⁵

Карамзин, создавший устойчивый тип «русского путешественника», путешественника с книгой в руках, воспитал не одно поколение русских читателей. К одному из них принадлежит и Цветаева. Можно предположить, что «Письма», только что приобретенные, сопровождали Цветаеву в свадебном путешествии, маршрут которого отчасти совпадает с маршрутом Карамзина. Разнообразие помет несет в себе вы-

ражение самой Цветаевой, она просматривается в них через литературный образ человека прошлого. Ее отметки — знак признательности Карамзину. «Что такое признательность? Дать знать о своей радости, радоваться перед ним, перед тем (от кого происходит нам эта радость)».⁶

Самая первая помета сделана крестом на полях вступительной статьи Буслаева против его слов, оценивающих сочинение Карамзина, с которыми тем самым Цветаева выражает свое согласие: «...Письма Русского Путешественника даже в период деятельности Пушкина не теряли своего современного значения, частью, имеют они его и теперь, потому что в них впервые были высказаны многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время достоянием всякого образованного человека». Слово «всякого» особо подчеркнуто Цветаевой.

Одно из двух особо выделенных красным карандашом с двойным отчерком мест уже непосредственно в тексте «Писем» отражает ту глубину созвучия переживаний Карамзина чувствам Цветаевой, которая определяет в целом отношение ее к своему великому предшественнику. Это то место, где списывается впечатление, произведенное в лозаннском саду натуралиста Левада на путешественника, где глазам его предстают «надписи, выбранные из разных Поэтов». «Между прочими нашел я строфу из Аддисоновой Оды, в которой Поэт благодарит Бога за все дары, принятые им от руки Его — за сердце, чувствительное и способное к наслаждению — и за друга, верного, любезного друга! Щастлив Г. Левад, есть ли в Аддисоновых стихах находит он собственные свои чувства!» (53).⁷ Так Цветаева в «Письмах» Карамзина находит родственное себе. Несколько раз выделенные ею строки о верном друге, спутника в жизни, увязываются с ее тогдашним восприятием Сергея Эфрона и лишней раз указывают на то, что сделаны эти пометы во время их свадебного путешествия 1912 года или непосредственно после него.

Это путешествие началось в первых числах марта и продолжалось два месяца. Они посетили Францию, Германию, Швейцарию и Италию. Это было последнее ее «вольное» путешествие за границу. Спустя десять лет она окажется там в эмиграции. Молодожены первым делом отправились в Париж, где их дожидалась Анастасия Ивановна Цветасва.⁸ И хотя второй том «Писем», принадлежавших М. Цветаевой,

утрачен, а именно там речь идет о Франции, но все же одна отметка в первом томе напоминает об их пребывании в Париже. Эта отметка сделана против цитаты из второго тома «Писем» во вступительной статье Буслаева: «Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной...»

Первая — самая поверхностная линия отношений М. Цветаевой и автора «Писем», а также его лирического героя, устанавливается, если можно так сказать, географически. В отрочестве (1903—1905) и в юности (1910) Цветаева побывала во многих из тех мест, которые описаны Карамзиным. Первый том «Писем» посвящен путешествию по Германии и Швейцарии, с которыми у Цветаевой связаны были устойчивые воспоминания, и его страницы «Писем» несомненно вызвали у нее определенные ассоциации. Швейцария для Цветаевой — это прежде всего Лозанна и Женевское озеро. «Слово «Лозанна», — писала А. И. Цветаева, — нам нравилось: оно звало куда-то, и было совсем неизвестно, чем оно станет нам».⁹ В Лозанну сестер Цветаевых привезли совершенствоваться во французском языке и продолжать учебу в пансионе сестер Лаказ. В главе «Швейцария» А. И. Цветаева отмечает «страстную, с первого взгляда привязанность к Лозанне (точно когда-то в ней родились, точно именно этот город мы видели с детства, во сне)...»¹⁰

Каждое утро путешественник у Карамзина совершает прогулки вокруг Лозанны. И А. И. Цветаева вспоминает: «Каждый день мы ходили еще в какие-нибудь окрестности Лозанны... Мы проходили мимо садов, пахнущих розами...»¹¹ «Годы и годы поздней, — продолжает А. Цветаева, — вспоминала Марина несколько раз пережитые нами особенные лозаннские утра».¹² На полях лозаннских писем Карамзина отмечены крестиком и коротким отчерком строки, посвященные Шильонскому замку, напоминающие Цветаевой свои посещения этих мест. Отмечено и то место, где упомянута кафедральная церковь Лозанны, в которую каждое воскресенье приводили на проповедь пансионеров. «Высокий шпиль собора, крутые крыши, старинная архитектура...».¹³ — все это также навсегда отложилось в памяти.

Судя по воспоминаниям А. И. Цветаевой, им не приходилось бывать в Женеве. И во время свадебного путешествия

1912 года Марина Ивановна с мужем по пути из Парижа в Италию проезжала Лозанну, но Женева оставалась снова в стороне. Не случайным представляется в связи с этим тот факт, что на полях женеvских писем Карамзина мы не найдем ни одной цветаевской заметки, указывающей на ее знакомство с этим городом. В то время, как карамзинский отзыв о Базеле, который Цветаева никак не могла миновать ни в отрочестве по пути из Лозанны во Фрейбург, ни в 1912 году по пути туда же из Италии, отчеркнут ею: «Базель более всех городов в Швейцарии; но, кроме двух огромных домов Банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень не много, и некоторые переулки заросли травой. Рейн разделяет Базель на две части...». Особым крестиком Цветаева отметила почтительное упоминание Карамзиным виденного им (как, вероятно, и Цветаевой) монумента Эразма Роттердамского в главной базальской церкви. (182).

Анализ подобных отметок, входящих в зрительный ряд воспоминаний самой Цветаевой, при почти полном отсутствии каких бы то ни было свидетельств ее посещения Швейцарии в 1912 году, позволяет уточнить маршрут следования тогда через Швейцарию по пути из Франции в Италию и из Италии в Германию. В лучшем на сегодняшний день издании, освещающем этот период в жизни Цветаевой, Швейцария вовсе не фигурирует.¹⁴ Лишь в поздних записках Валерия Цветаева, старшая по отцу сестра Марины Ивановны, писала, в третьем лице обращаясь к ней и Сергею Яковлевичу: «Вы в волшебстве своего свадебного путешествия. Альпы, Женева, Швейцарские озера, Париж, Сицилия, Палермо».¹⁵ Насколько можно доверять этому пассажиру с точки зрения его точности — неизвестно. Слишком мало мы знаем об этом свадебном путешествии. Во всяком случае сначала был Париж, потом проездом, но с вероятными задержками — Швейцария, далее Сицилия, с Италией по пути, наконец, Германия (опять же через Швейцарию) с отдыхом в Шварцвальде под Ферйбургом, а уж оттуда путь лежал в Россию. Германия, как мы видим, вовсе не упомянута В. И. Цветаевой, зато Швейцария с Женеvой поставлена на первое место. При этом опущена Лозанна, которая для М. И. Цветаевой прежде всего и олицетворяла Швейцарию, и миновать которую она никак не могла. В Женеvу же нужно было со-

вершать особую поездку из Лозанны. Состоялось ли такое путешествие или нет, выяснить на основании тех материалов, которые в настоящее время имеются в распоряжении исследователей, невозможно. Зато несомненно, что от Лозанны в Италию они ехали знакомым ей путем вдоль Женевского озера на Съен и Симплонским туннелем в Италию. «Наш путь в Лозанну — горе у вагонных окон. (...) Я даже не помню пейзажей кончавшейся Италии, начинавшей Швейцарии — все дрожало в слезах». Так вспоминала их с Мариной расставание с Италией и переезд в Лозанну 1904 года А. И. Цветаева. Теперь в 1912-ом навстречу своему детству с мужем ехала М. Цветаева. После Италии они направились в Германию уже другим путем через Сен-Готард, Цюрих и Базель.

В «Письмах» М. Цветаевой отчеркнуто начало письма, которое названо «В карете дорогою». Меняются скорости и средства передвижения, но неизменны пейзажи: «Какие места, какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна, и готов был в восторге целовать землю» (192). Откровенная восторженность чувств Карамзина оказывается сродни Цветаевой — по сходству натур и ощущений. Рейн для Цветаевой — символ столь с детства любимой Германии.

Интересно отметить, что среди многих пейзажей «Писем» Цветаевой отмечены лишь рейнские. Два из них — могучих, неповторимых низвержений рейнских водопадов еще в Швейцарских Альпах, куда в детстве поднималась Цветаева. Особо отчеркнуто описание знаменитого Рейхенбахского водопада, вероятно, вызвавшего воспоминания о собственных альпийских прогулках. (202) Описание уже гордо текущего германского Рейна отмечено Цветаевой в письме из Майнца от 2 августа, где карамзинский путешественник впервые видит этого «царя вод Германских». «Любезные друзья! Как радостно билось мое сердце! Рейн! Рейн! наконец вижу тебя (думал я) — вижу, и благословляю царя вод Германских в гордом его течении!» (168).

В статье «О Германии» Цветаева писала: «Во мне много душ. Но главная моя душа — германская. Во мне много рек, но главная моя река — Рейн».¹⁶ «Рокот Рейна сквозь тысячелетия» — вот, что представляется Цветаевой символом Германии, ее будущего еще не свершившегося. Вспом-

ним германские встречи путешественника «Писем» и отзывы Цветаевой о Германии и немцах. «Германия — страна чудаков. О, я их видела: Naturmenschen с шевелюрами краснокожих, пасторов, помешавшихся на Дионисе, пасторш, помешанных на хиромантии, почтенных старушек, ежевечерне, после ужина, совещающихся с умершим «другом» (мужем) — и других старушек — «Mädchenfrau», сказочниц по призванию и ремеслу, ремесленниц сказки. Сказка, как ремесло, и как ремесло кормящее. Оцените страну.

О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума шедших на высшем разуме — духе...»¹⁷ Итак, для Цветаевой, как и для Карамзина, Германия — страна, «где в каждом конторщике дремлет поэт». Часть «Писем», посвященных Германии, построена на общении путешественника с великими учеными и поэтами. Вместе с ним и Цветаева как бы посещает в Веймаре Гете, Виланда, Гердера, в Берлине Морица и Рамлера, в Лейпциге Платнера. В беседе, например, путешественника с Платнером, Цветаева отмечает диалог о достоинствах и особенностях русского языка. И Цветаевой не раз на чужбине приходилось поступать, подобно Карамзину, который пишет: «В доказательство того, что наш язык не противен ушам, читал я им русские стихи разных мер, и они чувствовали их определенную гармонию» (112).

Литературно-психологические наблюдения Цветаевой, выявленные в сделанных ею отметках на страницах «Писем», представляют особый интерес. Они касаются прежде всего проблем чувства и его отражения в творчестве, проблем, важнейших для Карамзина, и, как мы знаем, и еще раз убеждаемся — для Цветаевой. Противоречия чувств представляются ей естественными. Таковыми воспринимаются и пометы Цветаевой на полях «Писем». Вся ее жизнь построена была на исключительности, и подобное она находит и у Карамзина.

В письме из Франкфурта не осталась незамеченной Цветаевой народная легенда, которую перелагает Карамзин, о любви молодого монаха и юной монахини, обращенных гневом небесным в два камня на месте, где они соединились в объятиях. Эта легенда легла в основу поэмы Виланда «Монах и монахиня». Страсть, заставляющая перешагивать че-

рез все условности и обёты — сквозная тема творчества Цветаевой. Она сходится с Карамзиным в том, что любовь есть пробуждение дара, вялый же темперамент позволяет свершать безнравственные поступки.

Цветаева не смогла обойти вниманием и те места в «Письмах», где как бы вскользь упоминается надгробие княгини Орловой в кафедральном соборе Лозанны. Эта одна из тех заметок Карамзина, которые рассчитаны на читателя знающего суть дела. К такому читателю следует отнести и Цветаеву. С именем Екатерины Николаевны Зиновьевой, в замужестве Орловой, связан последний мучительный роман недавнего фаворита Екатерины II-ой князя Г. Г. Орлова. В 1776 году они, будучи двоюродным братом и сестрой, обвенчались вопреки закону, запрещавшему подобные браки. Сенат и Совет при императрице требовали их развести. Екатерина же, осыпав юную Орлову всякого рода милостями, закрывает глаза на родство супругов, посоветовав им отправиться на «воды», которые рекомендованы были Екатерине Николаевне и врачами. Но 16 июня 1781 г. она скончалась от чахотки в Лозанне на берегу Женевского озера. На одной из сторон ее саркофага был изображён страдающий Григорий Орлов. Смерть жены повергла его в отчаяние, он потерял рассудок и менее, чем через два года последовал за нею. На смерть Орловой написаны были стихи Г. Г. Державным, несомненно известные Цветаевой.¹⁸ История эта была подробно описана А. П. Барсуковым.¹⁹ Строки в «Письмах», отмеченные Цветаевой, «представляли дерзкое штурмерское элатирование общепринятых норм морали, аналогичное апологии любви брата к сестре в «Острове Борнгольме», вызвавшей целую бурю откликов — от С. Боброва до Хлестакова, который со ссылкой на Карамзина и его «Остров Борнгольм» просил руки у замужней городничихи».²⁰ Восстановлению одобрительной цветаевской отметки, стертой кем-то из последующих владельцев ее книги, помогло убеждение, что этот сюжет она пропустить не могла.

Одна из отметок, связанных с литературой, сделана Цветаевой против сноски Карамзина по поводу немецких представлений о Фаусте: «...простолюдины того века приписывали действию сверхъестественных сил всё то, чего они объяснить не умели, то Фауст провозглашён был ссобщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и

в сказках».²² М. Цветаева обратила внимание на иную трактовку Фауста — он не продает душу дьяволу, он его сообщник. Речь в карамзинском отрывке шла о книгопечатании, которое усвершенствует Фауст, приобщаясь к тайнам природы, что воспринимается в народе как общение с дьявольской силой. Именно это народное представление отмечают Карамзин и Цветаева. Позже эта тема окажется в ее поэмах «Переулочки» и «Молодец».

Сделанная Цветаевой отметка в письме от 2 июля касается посещения путешественником берлинского театра, где представляли драму А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». В связи с этим Карамзин сравнивает немецкую и французскую драматургию и актерскую игру, утверждая: «Я думаю, что у Немцев не было бы таких Актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических Авторов, которые с такою живостию представляют в Драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или Французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны». (68—69). В отмеченных Цветаевой строках Карамзин повторяет мысль Лессинга, а также юных драматургов «Бури и натиска» о значительности Шекспира и немецкого театра конца XVIII в., которые противопоставляются ими фальши и рассудочности французского театра XVII—XVIII вв. Нападки на Расина и Вольтера типичны для немецкой литературы, их повторяет Карамзин. Цветаева с ее ориентацией на немецкую культуру и первенство эмоционального закономерно присоединяется к мыслям Карамзина.

С берлинских страниц «Писем» число отметок Цветаевой увеличивается, поскольку оживляется ассоциативный ряд, порождаемый совпадением впечатлений несмотря на временный разрыв. Цветаева отмечает упоминания и описания — Липовой аллеи («Унтер ден Линден») памятника генералу Шверину, погибшему под Прагой, зоопарка, театра Сан-Суси, Потсдама, русской церкви. Осиротелось и пусто садов Фридриха Великого, где некогда гулял он со «своими Вольтерами и Дидеротами», также вызывает у нас грусть, как и у автора «Писем». Цветаева разделяет с Карамзиным чувство восхищения таким «прекрасным городом, как Берлин». Отчеркнув, например, эту фразу Карамзина, она выражает себя: «Прекрасный лужок, прекрасная рошица, прекрасная женщина — одним словом все прекрасное

меня радует, где бы и в каком виде ни находил его».

Отметки Цветаевой, какой бы области человеческих чувств, конкретных фактов, личностей, городов, пейзажей они ни касались, проникаются культурно-историческими ассоциациями и выводят размышления и переживания Карамзина за пределы времени. Карамзина и Цветаеву объединяет надвременное ощущение природы как гармонизирующего начала, в которой человек только один из ее компонентов. В письме из Женевы от 2 октября 1789 г. Цветаева очеркивает и отмечает крестом мысленное обращение автора к змее, которая едва только что не укусила его и чья жизнь была теперь в его власти: «Злобная тварь! думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку: злобная тварь! жизнь твоя теперь в моих руках; но есть ли Натура терпит, тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего — пресмыкайся!» (301).

Природа как толчок для выявления богатства души — так осмысливали ее сентименталисты. В мире перенасыщенных чувств Цветаевой картины природы, темпераментно воспринятые Карамзиным, родственны и ей. Чувство аристократического единства всей природы, в которой и змея занимает должное место, было свойственно Цветаевой в высшей мере.

Животное, как и человек, имеет бессмертную душу — утверждал швейцарский естествоиспытатель и философ Шарль Бонне (у Карамзина — Боннет) (1720—1793). Карамзин был его первым переводчиком на русский язык. Он опубликовал в 1789 г. в журнале «Детское чтение» отрывок из труда Бонне «Созерцание природы». В 1792—1796 гг. эта книга была полностью издана в России в переводе И. Виноградова. Судя по пометам, сделанным в «Письмах», там, где речь идет о Бонне, Цветаева, как и Карамзин, разделяла его идеи.

Главный труд Бонне — «Философская Палингенезия, или Мысли о прошлом и будущем состоянии живых существ» (1769). Палингенез — от греческого *palin* (снова) и *genesis* (рождение) — есть верование в постоянное возрождение мира. Биологический и философский аспект палингенеза в его совокупности и составляет смысл учения Бонне, привлеченного внимания Карамзина и Цветаевой. Свое убеждение в том, что всякая личность во всех ее проявлениях, заблуж-

дениях и аномалиях вписывается в организм мироздания, Бонне переносил и на природу авторского самолюбия. Цветаева-поэт эсобо, со знаком плюс, отмечает его высказывание: «Пусть Сочинители ищут славы! Трудятся для собственной своей выгоды, они приносят пользу человечеству; ибо премудрый Творец неразрывным союзом соединил частное благо с общим» (316).

Самому Бонне и его супруге, своеобразным Филемону и Бовкиде, как их называет Карамзин, было даровано судьбою то счастье, с которым в пору своего путешествия 1912 года задумывается юная Цветаева. Последняя ее помета в «Письмах» сделана против слов госпожи Боннет о своем супруге: «О его разуме, о его знаниях пусть судит публика; но я знаю, что любовь его, добронравие и нежные попечения составляют мое щастие. Мне кажется, что без него я давно бы лишилась жизни...» (324). Вспомним строки отчаянного письма Цветаевой С. Я. Эфрону 1921 года: «Если Богу нужно от меня покорности — есть, смирения — есть, — перед всем и каждым! — но отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь...».²¹ Итак, первая помета Цветаевой в книге Карамзина есть похвала «Письмам», выраженная через согласие со словами академика Буслаева, а последняя — кажется относящейся к ее мужу — через похвалу госпожи Боннет своему супругу.

Слова, которые путешественник у Карамзина говорит Боннету, отмеченные также Цветаевой, вполне определяют ее отношение к «Письмам» и их автору: «Вы видите перед собою такого человека, сказал я, который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения, и который любит и почитает вас сердечно». (314). Цветаева как корреспондент, чье пристрастие к эпистолярному жанру отмечено уже многими исследователями, для которой любимый вид реального общения — переписка, в какой-то мере обязана Н. М. Карамзину, его «Письмам русского путешественника».

1) Саакянц А. А. Из книг Марии Цветаевой. Альманах библиофила. Выпуск XIII. М., 1982. С. 91.

2) До 1917 г. цена этого двухтомника даже на книжном развале выражалась бы в рублях. К тому же тогда в книжных лавках, как

правило, не ставили цены в цифрах, а тем более чернилами. Цена проставлялась к сведению приказчиков буквами из состава обусловленного (в каждом магазине своего) слова. Например, «республика». Оно состоит из десяти неповторяющихся в нем букв, которым соответствуют цифры:

р е с п у б л и к а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Если книга оценивалась, скажем в 10 руб., то хозяин ставил две буквы — «ра», если в 295 руб., то три — «еку» и т. д. Такая система давала возможность в момент продажи назвать покупателю и более высокую, а в каких-то случаях и более низкую цену, исходя из разного рода конъюнктурных соображений.

После 1928 г. цена на подобный двухтомник также выражалась в рублях. Заклейка ничтожной цены при очередной перепродаже книги психологически, с точки зрения неизвестного ее продавца, вполне понятна.

3) Кудрова И. В. Берсты, дали... Марина Цветаева: 1922—1939. М., 1991. С. 28.

4) Саакянц А. А. Из книг Марины Цветаевой. Альманах библиофила. Выпуск XIII. М., 1982. С. 91.

5) Саакянц А. А. Из книг Марины Цветаевой. С.90.

6) Марина Цветаева. Письма к Арнадне Берг (1934—1939). ИМКА — ПРЕСС. 1990. С. 12.

7) Отсюда и далее все ссылки на текст «Писем» производятся по изданию, принадлежавшему М. Цветаевой, с указанием после цитаты номера страницы в скобках. См.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Т. I. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1834.

8) Цветаева А. И. Воспоминания. 3-е изд. М., 1933. С. 455.

9) Цветаева А. И. С. 113.

10) Там же. С. 130.

11) Там же. С. 137.

12) Там же. С. 149.

13) Цветаева А. И. С. 137.

14) Саакянц А. А. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910—1922). М., 1986. С. 38.

15) Катаева-Лыткина Н. И. Дом Марины Цветаевой //С любовью и тревогой. Статья. Очерки. Рассказы. М., 1990. С. 385.

16) Цветаева М. И. О Германии. //Избранная проза. Нью-Йорк. 1979. Т. I. С. 128.

17) Там же. С. 129.

18) Державин Г. Р. Сочинения. Изд. Я. К. Грота. Т. I. СПб., 1864. С. 152.

19) Барсуков А. П. Рассказы из русской истории XVIII в. СПб.,

1865. С. 176—190.

20) Лотман Ю. М., Успенский З. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры. // Карамзин Н. М. «Письма русского путешественника». Л., 1984. С. 574.

21) Кудрова И. В. Версты, дали... Маринна Цветаева: 1922—1939. М., 1991. С. 24.

И. В. Кондаков

КАРАМЗИН-КРИТИК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА XIX и XX ВЕКОВ

Есть свой смысл взглянуть на духовный мир художника и мыслителя, представляющего для нас весьма отдаленное по времени явление, с точки зрения не того времени, которое породило этого писателя, а с позиций современности. И взглянуть на него таким образом, чтобы увидеть отнюдь не превосходство века XX над XVIII (а значит, и наших воззрений над взглядами человека «осьмнадцатого столетия») или достоинства века XVIII («золотого») перед XX («ядерным»), но — «связь времени», длящуюся уже два века. Обращаясь к критической деятельности писателя, ознаменовавшего своим творчеством рубеж XVIII и XIX вв., мы можем обнаружить, в чем он предвосхитил наше время и опередил своих современников и ближайших последователей; можем подтвердить или опровергнуть правильность его оценок и прогнозов, касающихся назначения и смысла литературы и искусства; сопоставить его позицию и взгляды с точкой зрения критиков, громко заявляющих о себе в течение последующих двух веков и гордившихся тем, что они куда как далеко ушли от архаических принципов XVIII—начала XIX вв. Мы увидим, какие идеи, тревожившие воображение, разум и совесть человека XVIII в., подытоживавшие опыт «века Просвещения», завершившегося Великой французской революцией, были затем незаслуженно забыты и отвергнуты, между тем как сегодня, подводя итоги века XX, мы вынуждены обращаться, и неслучайно, — именно к этим идеям.

Есть смысл взглянуть с «вершин» противоречивого, трагического опыта XX века и на деятельность Карамзина-критика. Не случайно же Белинский сказал, что Карамзин был «первым критиком и, следовательно, основателем критики в

русской литературе...»¹, т. е. своего рода классиком русской критики. Такая исключительная оценка сегодня может показаться нам странной, неожиданной: «первым критиком» и «основателем» русской критики мы сегодня безусловно считаем самого Белинского — первым и по значению (безусловный классик русской критики, эталон, быть может, даже идеал, — как Пушкин для русской литературы), и по времени (основатель продолжительной и весьма разветвленной традиции). Произошел — во многом естественный — сдвиг в читательском массовом восприятии: исторически продвигается «вперед» по оси времени «нижняя (исторически более удаленная) граница классики, почти на полвека.² Однако вместе с тем происходит сдвиг и переосмысление ценностных критериев, самой шкалы ценностей и оценок, и нередко за внешне закономерной «модернизацией» представлений о том, что является современным, а что — архаично, что, как говаривал Ленин, «отошло в прошлое», а что — «принадлежит будущему»,³ место «вечных истин» занимают «современные вопросы» (обычный в 60-е гг. XIX в. оборот), а мудрость, кристаллизовавшаяся веками, вытесняется бесцеремонной злободневностью, суетной сиюминутностью.

В самом деле, если взирать на деятельность Карамзина-критика с позиций исторического превосходства, высокомерно «похлопывая» великого писателя и мыслителя «по плечу» за то, в чем он превзошел классицистические теории, и, напротив, пеняя ему за то, что он, в силу ли исторических обстоятельств, в силу ли своего дворянского происхождения, в силу ли, наконец, эстетической и мировоззренческой ограниченности «программы сентиментализма», «не дорос», например, до Белинского, — то не остается ничего иного, как отмечать у Карамзина «абстрактно-морализирующее начало», его неспособность «раскрыть конкретный характер социального человека», его стремление «не разрушить социальный строй, а только усовершенствовать и облагородить его» и т. п. (Нет, чтобы сразу: «до основанья, а затем...!»). Выражая «повысившуюся ценность отдельной личности, которая дорожит своей индивидуальностью, независимостью», Карамзин как представитель «сентименталистской критики», с этой точки зрения, оказывается, поступал всего лишь как «дворянин, познававший свою мятущуюся душу, шедший навстречу социальным низам во имя идеалов гуманности и просвещения». Однако нельзя было не похвалить его: «Но

и при такой своей исторической ограниченности русский сентиментализм был шагом вперед, явлением прогрессивным, значительно расширявшим возможности развития русской национальной литературы». ⁴

Увы! подобный взгляд на критику Карамзина, как, впрочем, и вообще на историю критики, понимаемой как «теоретическое самосознание литературных направлений», ⁵ сам страдает «исторической ограниченностью». Причем, «ограниченность», приписываемая, с этой с точки зрения, Карамзину, естественная (критику XVIII в. «не дано предугадать» не только то, как его слово «отзовется» в последующих поколениях, но и то, каковы будут эти поколения и те «последствия», которые им придется переживать в XIX и XX столетиях); а ограниченность исследователя XX века, судящего своего далекого предшественника с точки зрения «единственно верного и всемогущего учения», — искусственная, теоретически (или схоластически) заданная. Исследователь, историк критики (а вместе с ней и всей культуры), заранее знает, с позиций какого класса, строя, идейного и литературного направления может быть раскрыт «конкретный характер социального человека» наиболее полно и не абстрактно; какая личность имеет право «дорожить своей индивидуальностью, независимостью» и «опираться» на «повысившуюся ценность»; какой строй и когда должен быть «разрушен», подобно новому Карфагену, а какой — «усовершенствоваться» и «облагородиться»; какое литературное направление и почему способно «выступить как шаг вперед в художественном развитии» — если не «всего человечества», то по крайней мере «русской национальной литературы», а какое — никогда.

Ограниченность такого взгляда на развитие культуры (литературы, критики, науки о литературе и т. п.) связана с тем, что рассматриваемая предметная область сознательно ограничивается сразу с двух сторон: «нижняя» историческая граница (отделяющая то, что уже безвозвратно «отошло в прошлое», от того, что еще не «отошло») отсекает в «классическом наследстве» ту его часть, которая с известной априорной точки зрения признается нежизнеспособной, «мертвой»; «верхняя» же историческая граница «кладет предел» развитию этой предметной области, как впрочем, и самому познанию (если мы заранее знаем, что «должно быть» — в истории, культуре, литературе, науке и т. п., то в самом

этом «долженствований», т. е. нормативном, оценочно-идеологическом предписании, содержится указание на ту черту, за которой наступает конец любому потенциальному развитию данного предмета или взгляда на него). Подобный «телеологизм», «финализм» методологии отводит любому исторически отдаленному явлению лишь роль «переходного звена», «ступеньки» к бесспорно высшему, эталонному, идеальному, а значит, лишает его какой-либо иной роли в настоящем и будущем, кроме «подготовительной», «преходящей», ситуативной: это явление как бы изначально уже не «принадлежит будущему».

Осмысление истории как прерывистого, дискретного развития, распадающегося на отдельные, мало связанные друг с другом периоды системы ценностей (или, говоря современным языком, — парадигмы), при котором «эпоха Карамзина», так или иначе, отходила в прошлое, во многом отчужденное от современности и уже непонятное, было, разумеется, не одним лишь достижением марксистской методологии, абсолютизовавшей принципы классовости, стадийности, поэтапности общественно-исторического развития, полностью подчинявшего себе развитие культурно-историческое. В 1861 г., например, Г. Е. Благовосветлов, в бытность свою редактором «Русского слова», направляя и исподволь «программируя» деятельность и мировоззренческую позицию молодого Д. И. Писарева (только еще написавшего первую из своих двух статей под названием «Схоластика XIX века» — опубликована в майском номере журнала), писал: «Пережитые эпохи нашего умственного труда мы доселе называем не иначе, как именами Ломоносова, Карамзина, Пушкина и т. д., как будто и здесь необходим кумир для гуртового «поклонения», упрекая современное ему образованное общество в «робости мысли», «недоверии к собственным силам», в подчинении «своим наставникам» и слишком долгом воспитании» под ферулой чужих мыслей». ⁶ Вскоре эта леворадикальная мысль была взята на вооружение Писаревым, постаравшегося отмежеваться от культурного прошлого не только в лице Ломоносова и Карамзина, но и Пушкина, — более чем кто-либо из русских критиков XIX в. способствовавший «продвижению вперед» «нижней» границы актуальной культуры, за пределами которой оказывались и Карамзин, и Пушкин. Русская читающая публика стала все более и более решительно усваивать взгляд, согласно кото-

рному движёние вперёд (по пути непрерывного, поступательного прогресса) будет тем решительнее, чем скорее освободиться от груза предшествующих эпох, традиции которых лишь тормозят историческое развитие.

В принципе и в XVIII в. было достаточно теоретиков и практиков, высказывавшихся в пользу радикального переосмотра наследия прошлых эпох. В отличие от них Карамзин всегда выступал, как подлинный историк, сторонником континуального, непрерывного видения мира как развивающегося целого, а не цепочки замкнутых в себе эпох или этапов. Невозможно, по мысли писателя «в одну минуту истребить все плоды ума человеческого, жатву всех прошедших веков», «потомки наши снова найдут потерянное». ⁷ Необходимость искусства и науки он доказывал тем, что «они суть плод природных склонностей в даровании человека и соединены с существом его... союзом неразрывным»; при этом «духовная натура» человека «в течение времени... очищается и достигает большего совершенства», а «круг чувств и мыслей» человека люди «беспрестанно... распространяют, обогащают, обновляют» (44). Таким образом, непрерывность и поступательность духовного прогресса человечества, по Карамзину, зависит от сохранения и пополнения того «ядра» духовности, которое поднимает его над жизнедеятельностью животных, над «деспотическим чувством», определяющим «устав необходимости» (52).

В полемике с Ж.-Ж. Руссо Карамзин устанавливает прямую зависимость духовного прогресса человечества от степени приобщения людей к культуре—искусствам и наукам, а также к морали, «из наук важнейшей» (52). Именно искание разумом истины, добра и красоты, по мнению русского мыслителя, делает человека — человеком и тем самым возвышает его природу — «духовную натуру» — над природой, лишённой разума, над «естественными побуждениями» (52). Далее, именно приобщение людей к возвышенным плодам культуры (науке, искусству, морали) позволяет человечеству сознательно или бессознательно преодолевать, говоря современным языком, энтропию в общественном устройстве, в организации общественной жизни, в общественном сознании, т. е. ограничивать степень неопределённости и хаотичности процессов, развивающихся в обществе. «Искусства и наука,— пишет Карамзин в 1794 г. (обратим внимание на год этих размышлений), — показывая нам красоты величе-

ственной природы, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру, следственно, ненависть к беспорядку, разногласию и порокам, которые расстраивают прекрасную связь общезития» (52).

«Беспорядки», «разногласия», «пороки», о которых говорит Карамзин, имея в виду революции и народные бунты — наподобие Великой французской революции или русской Пугачевщины, — низводят людей до уровня животных, руководствующихся «деспотическим чувством» и «подверженных» одному «уставу необходимости». «...Для них (животных. — И. К.) нет выбора, нет ни добра; ни зла»; вместо «естественного побуждения», управляющего животным миром, человеку дан «разум, который должен искать истины и добра. Зверь видит и действует; мы видим и рассуждаем, то есть сравниваем, разбираем, и потом уже действуем» (52). Открывая наблюдение и непосредственно вызываемое им практическое действие друг от друга, разделяя первое от второго рассуждением, анализом, сравнением, Карамзин тем самым вычленил сферу действия критики, призванной осуществлять «выбор»; определять меру «добра» и «зла», критерии «красоты» и безобразия и т. п., — за счет способности к суждению об увиденном и вытекающих из него следствиях и поступках, — вести творческий поиск во имя истины и добра». Таким образом, критика как необходимая для духовного прогресса человечества форма человеческой деятельности характеризуется как «поисковая» зона культуры, где истина, добро и красота не определены, но еще только определяются и измеряются в качестве таковых, где наделенный разумом наблюдатель осуществляет «выбор» наилучшего, наиболее «совершенного» и «благотворного», долженствующего пополнить собой «ядро» непреходящих истин и ценностей,двигающих человечество вперед.

Понимая критику как способ отрицания несовершенного, ушербного, порочного в окружающем мире (но отнюдь не как средство поддержания лучшего, эталонного) в культуре и жизни; как орудие теоретической рефлексии образованного и просвещенного человека, Карамзин в известном смысле отдает предпочтение художнику перед критиком художника. Апеллируя к «человеколюбию» и необходимости ради всего щадить «оскорбленное самолюбие» действительных или по-

тэнциальных писатёлей, Карамзин от имени обобщенного читателя своего журнала «Вестник Европы» спрашивал «Издателя» (т. е. уже собственно себя): «...Но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? ...Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги!» (77). Критике как способу борьбы с «дурным» редактор «Вестника Европы» (впервые, кстати, непосредственно связавший критику с ее журнальным бытием) противопоставляет талантливое художественное творчество, помимо теоретической рефлексии задающее эталонные критерии подлинного искусства. Соответственно выстраивается в представлении автора и иерархия задач отечественной культуры: сначала творчество, затем его анализ и оценка в критике — по преимуществу «ученом», т. е. теоретически искушенном «суде». Сначала нерелексированное «наблюдение»; затем — научно-теоретическая (или близкая ей) рефлексия увиденного; наконец, принятие необходимых решений о действовании, практическая реализация результатов анализа.

Вся дальнейшая история отечественной критики и общественной мысли, постепенно, но все более и более решительно демонстрировала свой отказ от принципов и заветов Карамзина, свой разрыв с тем пониманием целостности культуры, которое было выношено и выстрадано XVIII веком. Русские критики — профессионалы и энциклопедисты, решая попутно с вопросами литературными и эстетическими массы других, куда более важных общественных проблем — социальных, экономических, политических, философских и т. д. (это скорее вопросы литературные и художественные решались «попутно», если решались). — претендовали на «главенство» в литературно-общественной жизни России, заявляя об особом статусе «критического руководства» — не только «беллетристической», но и других сторон жизни, тем более что беллетристической приходилось заниматься «только мимоходом и ввиду разных сторонних соображений».⁸ (Так рассуждал Н. Михайловский в 1883 г., подводя предварительные итоги XIX в. и роли критики в русской культуре этого времени). Формула, выработанная Карамзиным, все более и более приобретала на отечественной почве прямо обратный, «перевернутый» смысл: критика — уже со времен позднего Белинского — становилась «выше литературы — как ее

теоретически и философски вооруженная «руководительница»; в дальнейшем же, начиная с Чернышевского и особенно в критической деятельности Добролюбова и Писарева, «выше» и литературы, и критики (почти полностью сливаясь с публицистикой и пропагандой различных идей, знаний и прямо практических действий) становилась сама действительность, «жизнь», диктовавшая свои требования критике, а через нее — и литературе. Сама литература воспринималась, начиная с позднего Белинского, исключительно как «литературное дело», а в XX в. и вовсе, благодаря гениальной концепции В. И. Ленина, превратилась в составную часть политической работы, где общий тон и направленность задавала классово-партийная прагматика, политическая целесообразность.

Опасность подобного «преобразования» искусств в особого рода полезное «дело», подчиненное внешним, посторонним искусству и культуре в целом факторам социально-политического или социально-бытового характера, внехудожественным целям, под влиянием критики как культурно-пограничного феномена (на стыке науки, искусства и политики/морали) предчувствовал и почти предвидел Карамзин еще в пределах XVIII в. Причины такого рода извращения писатель видел в национальном своеобразии русской культуры, ее исторически сложившихся традиций, того неповторимого исторического пути, по которому шло развитие России. Объясняя это своеобразие французским читателям в 1797 г., Карамзин писал: «У нас нет недостатка в чувствительности, воображений, наконец — в талантах; но храм вкуса, но святилище искусства редко открываются перед нашими авторами. Ибо пишем мы по внезапной прихоти; ибо слабое ободрение не побуждает нас к усидчивому труду; ибо в силу тех же причин, справедливые критики редки на Руси; ибо в стране, где все определяется рангами, слава имеет мало притягательного» (59).

Пусть нас не смущает наивно-простодушная апелляция к таким «побуждающим» творчество мотивам, как «слава», «ободрение» и даже «усидчивость»: Карамзин знает, что стоит за этими стилистическими аксессуарами. В стране с давними и стойкими традициями бюрократизма и «аппаратного» регламентирования всех сфер жизни, включая культуру и духовную (в том числе религиозную) жизнь, где «табель о рангах» не только в чиновничьих структурах, но и в

самом сознании людей вытесняет ценностные критерии осмысления явлений жизни и культуры, критика не может не быть пристрастной, не может не находиться в зависимости от внешних, социально-политических факторов, неизбежно навязываемых культуре и «вживляемых» в нее, а имманентные закономерности развития искусства, науки, философии и т. п. постоянно уходят на второй, а то и третий план критических и собственно литературно-художественных интересов — как для писателей, так и для читателей. «Справедливость» тех или иных критических оценок почти изначально является иллюзорной, мнимой: «ранги», доминирующие в обществе, определяют иерархию ценностей и оценок: в таких общественно-политических традициях неизбежными оказываются превалированные конъюнктуры, огульные разносы, угодливая апологетика, приспособленчество, т. е. предпочтение интересов властвующей элиты — интересам истины, добра и красоты.

Не спасает здесь и подражание иностранным «примерам и образцам» в котором Карамзин в принципе не видит ничего предосудительного, с точки зрения духовного прогресса единого человечества. Однако в России и этот процесс получает уродливое, извращенное преломление. «Когда Петр Великий сорвал завесу, скрывавшую от наших взоров жизнь цивилизованных народов Европы и успехи их искусства, тогда русский человек, униженный сознанием своей отсталости, но чувствующий, что он способен обучиться, захотел подражать иностранцам во всем — в образе жизни и в платье, в обычаях и искусствах; он переделал свой язык на манер и подобие немецкого и французского, и поэзия и словесность наши превратились в отзвук и отражение чужеземных поэзий и словесности» (58—59). Увы! «унижение сознанием своей отсталости» — это отнюдь не то свободное и прагматически незаинтересованное чувство, которое дает почву для самобытного и подлинно художественного творчества. В подобном социокультурном унижении слишком много от «деспотического чувства» необходимости; оно не свободно от зависти к иностранному («низкопоклонства перед Западом»), с одной стороны, и от озлобленности на собственную «отсталость», «обделенность», граничащей с ненавистью ко всему иноземному, с ксенофобией, — с другой. От слепого и механического подражания чужеземным образцам до полного отрицания значения цивилизации «гнилого Запада» и ее от-

вёржения ради сохранения национально-культурного фундаментализма, самобытных устоев русской культуры и государственности — так колеблется маятник, приводимый в движение «униженностью» русского человека, соединяющего в себе крайности смирения и бунта.

Карамзин отчетливо понимал **евразийский** характер русской государственности и русской культуры; не случайно именно Карамзин — первый из русских деятелей культуры — предвосхитил в своих произведениях и в собственной творческой эволюции черты будущего западничества и славянофильства, став предтечей как того, так и другого. В своем программном «Письме к издателю» («Вестник Европы». 1802. № 1) русский художник и мыслитель, проанализировав основные тенденции общественно-политического и культурного развития Европы, констатирует: «я живу на границе Азии, за степями отдаленными... — и с сожалением добавляет: — Жаль только, что недостает таланта и вкуса в артистах нашей словесности, которых перо по большей части весьма незаманчиво и которые нередко во зло употребляют любопытство читателей! А в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни...» (76).

Пограничность России и русской культуры, обусловленная ее «евразийством», выражалась, по Карамзину, с одной стороны, в ее восприимчивости ко всему «новому и свежему», в ее потенциальной готовности и способности к интенсивному и ускоренному развитию, наконец, в том, что искусство на российской почве обретает не свойственную ему «в других землях» «полезность», «действенность», практическую «плодотворность», т. е. способность непосредственно преломляться в жизнь. Это, так сказать еще «не поднятая целина». С другой же стороны, недостаточная «нравственная образованность», «идейная развитость», неумение видеть «новые красоты в жизни», т. е. недостаточная аккультурированность этой могучей «целины» обуславливает и «недостаток таланта и вкуса» в «артистах словесности», и, что еще важнее, неизжитая потребность «во это употреблять любопытство читателей», — пережитки варварства, «азиатчины», проявля-

ющется в соблазнах сначала действовать, а уже затем — «рассуждать, сравнивать, разбирать», а подчас даже и наблюдать! Отсюда и дополнительная опасность превышения своих полномочий критикой, занятой не столько образованием вкуса, таланта и нравственных принципов в писателях, сколько руководящей «любопытством читателей», употребляя его нередко «во зло», т. е. обращая его к «беспорядкам», «разногласиям» и «порокам» общества; «расстраивая» «прекрасную связь общежития», увлекая к революции и кровопролитию.

Отсюда идет и постоянное предпочтение Карамзиным литературы и искусства перед критикой (суждением о литературе или по поводу нее). В Объявлении о продолжении «Вестника Европы» на 1803 год Карамзин заявлял: «Что принадлежит до критики новых русских книг, то мы не считаем ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о неприятности иметь дело с беспокойным самолюбием людей). В авторстве полезнее быть судимым, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается от великого богатства; а мы еще не Крезы. Лучше что-нибудь прибавить к общему имению, нежели заняться его оценкой».⁹ Евангельская реминисценция («Не судите, и не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены...» — Лк.: 6,37), возникшая у Карамзина в полемике с Ф. Ф. Туманским, который отстаивал пользу критики для творчества, была, конечно, эффектна, но не вполне соответствовала истине. Критика уже стала «истинною потребностью» русской литературы, и по мере дальнейшего ее развития и обогащения все более и более выходила на первый план. Именно этой потребности отвечала и собственная критическая деятельность Карамзина.

В развитии русской литературной критики XIX и XX вв. Карамзин многое предвосхитил, но не предотвратил, «Благодетельным» следствием французской революции русский писатель и мыслитель считал окончательное торжество священного «гражданского порядка», «утверждение всех общественных связей», соблюдение «благопристойности и уважения к святине нравов», укрепление «внутреннего убеждения разума» и т. п. «Ужасы пожара», «ужасные бедствия» революции, по мысли Карамзина, раз и навсегда отвратили людей от «злословия свободы», опасной «химеры» «равенства состояний», от «низких побуждений эгоизма» и служения «только

одному идолу подлой корысти». Потерпели заслуженный духовный крах «все необыкновенные умы» XVIII в., которые «страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ», которые были «врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения»; «все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы нравственному и политическому миру, должны остаться в книгах...» (85—87). Главной заслугой Великой французской революции, казалось Карамзину, является урок, вынесенный из революционных бедствий просвещенным человечеством: «учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума»; «разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти», и «самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений» (85).

Нравственно-охранительная утопия Карамзина-критика, его апелляция к устоявшимся эталонам, примерам, образцам (нравственного, политического, эстетического или философского характера) была, в принципе, такой же игрой «кабинетного ума», как и вскоре отвергшие ее утопии теоретиков от революционной демократии, от революционного народничества, от русского марксизма (включая большевизм). Русская литературная критика XIX, а затем и XX вв. страстно жаждала «великих перемен и новостей в учреждении общества», а потому стремилась то и дело превратить литературу в «злословие свободы» или побуждение «разумного эгоизма», в пропаганду «лестных мечтаний воображения» и обличения «настоящего», в «химеру равенства состояний» и в призывы к борьбе с «внутренними турками» России. Репутация «необыкновенных умов», создающих отчаянно «смелые теории» по переустройству всего и вся, давала моральное и политическое право классикам отечественной критики — от Белинского до Плеханова и Ленина — предписывать законы, рожденные в тиши «кабинетов» и сутюжке редакций прогрессивных журналов, не только классикам русской литературы (все время чего-то недопонимавших и отражавших совсем не то, что хотелось критикам), но и самой жизни. «Смелые теории ума» все время норовили вырваться из тесноты книг, литературы — на простор «живой жизни», «исторического творчества»...

А предупреждения Карамзина, уже подступавшего к созданию «Истории государства Российского», были забыты — на два века.

- 1) Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13-ти т., М., 1953—1959. Т. IX. С. 145.
- 2) См. подробнее: Кондаков Б. В., Кондаков И. В. Классика в свете ее современной интерпретации // Классика и современность. — М., 1991. С. 43.
- 3) Ср.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 23.
- 4) Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX вв. 2-е изд. М., 1978. С. 44—45.
- 5) Там же. С. 3.
- 6) Р. Р. (Благосветлов Г. Е.) Литературный плач о пропаже российской философии // Русское слово. 1861. № 7. От. II. Рус. лит. С. 53.
- 7) Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 44. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страниц в скобках.
- 8) Михайловский Н. К. О Тургеневе. // Михайловский Н. Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX—начала XX вв. — Л., 1989. С. 235—236.
- 9) Вестник Европы. 1802. № 23. С. 228—229.

А. С. Янушкевич

ПИСЬМА Г. И. СПАССКОГО К КАРАМЗИНУ

В творческой биографии «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина сибирские страницы занимают важное место. В июне 1820 г., приступив к описанию истории присоединения Сибири, Карамзин испытывал недостаток источников. В письме к И. И. Дмитриеву, относящемуся к этому времени, он замечал: «Пишу о твоём Герое Ермаке, но жалуюсь на худые материалы: ищу и не нахожу ничего характерного; все бездушно, — а выдумывать нельзя».¹ Помощником автора «Истории государства Российского» и своеобразным его консультантом по сибирским сюжетам становится Григорий Иванович Спасский (1783—1864).

Историк Сибири, член-корреспондент Петербургской АН по разряду восточной словесности и древностей, редактор журналов «Сибирский вестник» (1818—1824) и «Азиатский вестник» (1825—1827), издатель и исследователь сибирских летописей, он поистине открыл Сибирь для русской просвещенной публики. В журнале «Сибирский вестник», пользовавшемся популярностью в русском образованном обществе (достаточно сказать, что в библиотеке Пушкина сохранился его почти полный комплект),² появляется гравированный портрет неизвестного художника, изображающий Ермака в боевых доспехах.³ Записки о Летописях Сибирских с «гравировальными изображениями», известия о Сибирских древностях постоянны на страницах этого издания.

¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 291.

² Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 131.

³ Сибирский вестник, 1818. Ч. 1.

В 1821 г. Спасским была издана «Летопись Сибирская, содержащая повествование о взятии Сибирской земли Русскими, при царе Иоанне Васильевиче Грозном, с кратким изложением предшествовавших оному событий», в предисловии к которой Спасский особенно подчеркнул, что «достоинство сей рукописи признано и знаменитым нашим историографом Н. М. Карамзиным, употребившим ее для 9-го тома своей «Истории государства Российского».⁴ Этот факт вызывал законную гордость издателя. Не случайно в своей полемике с П. А. Словцовым вокруг «Летописи Сибирской» он постоянно будет опираться на мнение Карамзина. «Не так отзывается о Летописи Сибирской или Строгановской, — замечает он, — Г. Историограф наш, имевший пред собою подлинную оной рукопись и все другие до сих пор известные летописи и повествования о Сибири. Он почитал ее (см. И.Г.Р., IX, примеч. 644) за достовернейшую...»⁵

Обнаруженные среди рукописей Г. И. Спасского (Гэс. архив Красноярского края) его письма к Н. М. Карамзину от мая 1820—марта 1821 гг. позволяют расширить представление о взаимоотношениях двух историков, уточнить некоторые моменты творческой истории труда Н. М. Карамзина.

I.

Милостивый государь
Николай Михайлович!

Имею честь препроводить 4 книжки «Сибирского Вестника» за нынешний год. Надеюсь, что вы изволили уже получить и все прочие книжки сего издания за 1818, 1819 и 1820 годы, которые мною в свое время были вам доставляемы.

С великим удовольствием узнал я от Алексея Николаевича,¹ что принадлежащие мне летописи о покорении царств Казанского, Астраханского и Сибирского дошли до рук ваших.² Это было собственное мое желание; но я не имел случая лично вам их вручить. Лестно было для меня удостоиться тем, что есть сих летописей спасение: кажется, последняя из них заслуживает быть напечатана.³

⁴ Летопись Сибирская... СПб., 1821. С. VIII.

⁵ Гос. архив Красноярского края (далее: ГАРК), ф. 805, оп. 1, ед. хр. 224, л. 11.

Но я не нахожу к тому другого способа как напечатать ее в своем издании отдельно от других статей. Мною ожидается еще присылка из Сибири летописи Черепановской.⁴ Думаю в Тобольске есть список Ремезова⁵ и другие какие-нибудь.

Я имею у себя теперь, кроме других, материалы касательно Сибири:

1) Выписки, сделанные мною из архивных свитков в Томске и Кузнецке. В них содержатся разные известия о современных таких нрзб. и учреждениях, которые не раскрылись в Миллеровой истории Сибири.⁶

2) Несколько писем и донесений к Петру Великому от Генерала Демидова,⁷ начальствовавшего Сибирью Заводской.

3) Переписка Императрицы Екатерины II с Сибирским Губернатором Денисом Ивановичем Чичериным.⁸

4) Краткие показания о бывших как в Тобольске, так и во всех Сибирских городах и острогах с начала возникновения Сибирского государства воеводах и губернаторах, и кто именно и в каких годах был и кто какой город строил и что писано в Тобольских Архиерейских до 1798 и печатано в Тобольске 1792 года.

Если вам угодно будет видеть все сии бумаги или некоторые из них, я приятнейшим долгом почту их вам переслать.

С истинным высокопочтением и совершенною преданностью имею честь быть

Милостивый Государь Вашего Превосходительства.

19 мая 1820.

С. П. бург.

АВТОГРАФ — ГАКК, ф. 805, оп. 1, ед. хр. 234, лл. 1-2 об. Черновой вариант.

1. Имеется в виду А. Н. Оленин (1764—1843), археолог и историк, президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки. В архиве Спасского сохранилась их переписка, касающаяся вопросов издания Сибирских летописей.

2. О том, что эти летописи не только дошли до Карамзина, но и были использованы им в 9-м томе «Истории госу-

дарства Российского», см. примечания в ее тексте, а также многочисленные ссылки самого Спасского в его «Ответе на замечания против Летописи Сибирской» (ГАКК, д. 805, ед. хр. 224, лл. 7-14).

3. Речь идет о «Летописи Сибирской...», изданной Г. И. Спасским с его примечаниями.

4. Имеется в виду летописный труд Ивана Леонтьевича Черепанова (1724—1795), получивший название «Черепановской летописи». О ней подробнее см.: Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 171—173.

5. Речь идет об «Истории Сибирской» С. У. Ремезова (1641 — после 1720). Подробнее см.: Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 95—106.

6. Названа «История Сибири» Герарда Фридриха Миллера (1705—1783).

7. Демидов Акинфий Никитич (1678—1745), управляющий Невьянскими заводами.

8. Чичерин Денис Иванович (1720—1785), сибирский губернатор.

II.

Ваше Превосходительство,
Милостивый Государь,
Николай Михайлович!

Любовь к Отечеству и желание быть ему полезным своими трудами побудили меня предпринять путь в Сибирь, в сие отдаленное и обширное достояние России, чтобы обозреть, заметить и сказать своим соотечественникам, что там прекрасного, занимательного и полезного.

Для достижения сей цели я посвятил, во время двенадцатилетнего в Сибири пребывания,¹ все свои досуги и не щадил ни трудов, ни пожертвований. Главными предметами моих наблюдений были: красоты и богатство природы; разнообразность местонахождения; памятники древности; обитатели, нравы их и обыкновения; протяженность и проч.

По возвращении в Санкт-Петербург я решился собранные мною сведения о Сибири и странах с нею сопредельных сообщать публике в виде периодического издания под назва-

нием «Сибирский вестник», и с 1818 года непрерывно его продолжаю. А как некоторые статьи сего «Вестника» по замечательности своих предметов сделались обширны и к ним надлежало приобщить многие рисунки, то я почел нужным выделить печатное в сем издании отдельно по роду их, так чтобы они могли быть соединены в особые книги. Таким образом из статей, напечатанных мною в течение трех текущих лет, составилось 9 книг и один атлас.²

Имея честь представить сии книги и атлас Вашему Превосходительству, приемлю смелость покорнейше просить вас поднести оные Всемилостивейшей Государыне Императрице Елизавете Алексеевне. Снисходительное воззрение Ея Имп. Вел. на сей плод постоянных трудов моих подает мне новые силы к неослабному их продолжению.

С истинным высокопочтением и совершенною преданностью имею честь.

Март 1821.

АВТОГРАФ — ГАКК, ф. 805, оп. 1, ед. хр. 234, лл. 3-4. Черновой вариант.

1. В своей автобиографии «К очерку моей жизни и ученых трудов», относящейся к 1827 г., Спасский пишет: «С 1804 года по 1814 год, находясь на службе в Сибири согласно предписанных от Правительства поручений и на собственном иждивении объездил большую часть южной Сибири...» (ГАКК, ф. 805, оп. 1, ед. хр. 1, лл. 4-4 об.).

2. В «Заметке о Сибирском вестнике», написанной для А. Н. Оленина 31 октября 1824 г. (ГАКК, ф. 805, ед. хр. 215, лл. 1-1 об.), Спасский так раскрыл содержание этих книг:

1) Записки о Сибирских древностях, с атласом, состоящим из 23 гравированных изображений.

2) Древности и достопамятности Сибири, с новоизобретенным портретом Ермака и надписями, открытыми на реке Пышме.

3) Изображение обитателей Сибири, в 2-х книжках, с гравированными изображениями внутренности юрты и 4 киргизских костюмов.

4) Новейшие ученые и живописные путешествия по Сибири, кн. 1 и 2, с гравированными видами.

5) Собрание Исторических, Топографических и других сведений о Сибири и странах с нею сопредельных. Ч. 1, 2, 3 и 4 с картою Киргиз-Кайсацкой степи и грав. изображениями.

6) Горные известия, с 5 грав. изображениями.

7) Собрание сведений по части наук, искусств и ремесел, с 6 рисунками.

8) Отрывки и разные мелкие сочинения с картою похода Ермака, прежним портретом и изображением Ламайского Амулета.

9) Сочинения и переводы о Сибири, с 3 грав. изображениями.

10) История плаваний из рек Сибири в Ледовитое море.

С. Л. Турилова

МАТЕРИАЛЫ О КАРАМЗИНЕ В АРХИВЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Указом Александра I от 31 декабря 1803 г. Н. М. Карамзин, уже известный к тому времени писатель, назначен российским историографом. Ему предоставлялась возможность пользоваться всеми архивами и библиотеками, «которые к сочинению российской истории могут быть для него нужны».

При составлении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин использовал и документы богатейшего архивохранилища того времени — Московского архива Коллегии иностранных дел России (МАКИД), с 1832 г. — Московского Главного архива МИД России (МГАМИД).

О работе историографа в Московском архиве Коллегии иностранных дел подробно писали авторы статьи «Архивные разыскания Н. М. Карамзина», используя документы, сохранившиеся в фондах Центрального государственного архива древних актов и Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.¹

В Архиве внешней политики России (АВПР) Историко-дипломатического управления МИД СССР в фонде «Административные дела» хранится любопытное дело: «О допущении разных лиц к чтению и составлению выписок из дел Московского архива (Коллегии иностранных дел) 1801—1819 гг.». В нем отдельная папка — «Карамзин Николай, статский советник. «1803—1819гг.»² Здесь в подлинниках и копиях отложилась переписка Н. Н. Бантыш-Каменского и А. Ф. Малиновского (управляющих МАКИД того времени), попечителя Московского университета М. Н. Муравьева с канцлером А. Р. Воронцовым и управляющим КИД К. В. Нессельроде о работе историографа в архиве иностранного

ведомства, реестры «рукописям и печатным книгам», «подлинным делам», которые были отправлены из «Московской Государственной Коллегии иностранных дел архива» Н. М. Карамзину, а также неизвестный ранее его автограф — письмо от 1 марта 1819 г. К. В. Нессельроде.³

Вначале, как известно, историографу не разрешали брать рукописи и архивные дела на дом.

24 марта 1816 г. — управляющему МАКИД — известному историку и архивисту А. Ф. Малиновскому — сообщалось о разрешении императора «перевезть в Санкт-Петербург все исторические документы, коими он (Карамзин — С. Т.) заимствовался из Московской Государственной Коллегии иностранных дел архива». 24 мая 1816 г. Малиновский объявил об этом Карамзину и одновременно известил К. В. Нессельроде об отправлении документов в С.-Петербург, приложив реестры «отпущенным из Архива... подлинным делам, рукописям и печатным книгам». «Это все, по извлечении из того материала для описываемой им эпохи, — писал А. Ф. Малиновский, — он (Карамзин — С. Т.) должен возвратить Архиву в целости».⁴

Реестры архивных документов свидетельствуют об огромной источниковедческой работе, проделанной Карамзиным для сочинения «Истории...». В них на 13 листах упомянуты такие рукописи, как «Новгородский летописец по 1717 г.», «Летописец Великия России», «Разряды с 1493 по 1611 гг.», печатные книги XVI—XVIII вв. на латинском, французском, немецком и английском языках; «подлинные дела» — книги английских, греческих, датских, польских, крымских и др. польств.

Письмо Н. М. Карамзина, обнаруженное в АВПР, ответ на послание к нему К. В. Нессельроде от 28 февраля 1819 г., в котором последний писал: «Полагая, что из рукописных книг, заимствованных вами в 1816 г. из Московской Государственной Коллегии иностранных дел архива, сделаны уже вами нужные для российской истории извлечения, обращаюсь к вам, государь мой, с покорнейшею просьбою возвратить книги помянутому архиву, ежели не имеется в них более надобности...»⁵

Историк отвечал Нессельроде: «...Рукописи и книги, взятые мною из Московского архива Коллегии иностранных дел, будут целы и немедленно возвращены, как скоро не бу-

ду иметь в них нужды: думаю в течение сего же или начале 1820 г.»⁶

После выхода в свет первых 8 томов «Истории...» МИД России был заинтересован в их приобретении.

В АВПР сохранились дела об отпуске денег К. В. Нессельроде для подписки на труд Карамзина.⁷

В МИД была составлена в то время докладная записка на имя Александра I, в которой речь шла о том, что находящиеся за границей чиновники министерства плохо осведомлены «о происходящем во внутренности Отечества. Указывалось также на необходимость изучения дипломатами «лучших сочинений на русском языке»⁸ по истории России. Предлагалось приобрести для МИД России «Историю государства Российского» — «драгоценный памятник, воздвигнутый древней славе российского народа».⁹

12 января 1818 г. Александр I подписал указ о подписке на 28 экземпляров и отпуске денег на покупку «Истории...» для внешнеполитического ведомства.¹⁰

МИД России известил об этом указе императора Н. М. Карамзина и поздравил с выходом в свет его труда (в АВПР имеется проект письма от 21 января 1818 г. министерства историку).¹¹

1 марта 1818 г. ведущий чиновник МИД России П. Я. Убри (кстати, пушкинисты называют его «начальником» великого поэта) писал К. В. Нессельроде о необходимости направления к историку служащего для покупки 28 томов, т. к. «он слышал, что издание почти все распродано, и министерство... рискует остаться без «Истории государства Российского».¹²

4 марта МИД получил от историзграфа нужное количество экземпляров.¹³ В 1821 и 1824 гг. иностранное ведомство приобретало последующие тома карамзинской истории и направляло их в русские миссии и консульства за границей.¹⁴

В деле Архива «О препровождении 10 и 11-го томов «Истории государства Российского» — сочинения г-на Карамзина» есть еще один автограф историка — донесение от 28 мая 1824 г. в Министерство иностранных дел: «Следующие мне деньги за 28 экземпляров X и XI томов Российской Истории: всего 560 рублей, покорнейше прошу оную Коллегию выдать под расписку его благородию Константину Степано-

вичу Сербиновичу. Действительный статский советник, кавалер Николай Михайлов сын Карамзин». ¹⁵

Интересно также и то, что российский посланник в Австрии Ю. А. Головкин приобрел 250 экземпляров переведенной на итальянский язык (в Венеции) «Истории...» Карамзина. В 1822 г. первые три тома перевода были привезены в С.-Петербург. Несколько томов министерство оставило для своих архивов и библиотек. Остальные рассылались «в разные учебные заведения и публичную библиотеку». ¹⁶ В АВПР сохранилось дело «О рассылке к разным особам экземпляров итальянского перевода «Истории государства Российского», издаваемой г-ном Карамзиным». ¹⁷

С Н. М. Карамзиным связан еще один комплекс документов АВПР. В фонде «Секретнейшие дела (перлюстрации)» отложилась корреспонденция 1790—1792 гг. известного масона А. М. Кутузова, находящегося в то время в Берлине, с московскими и петербургскими адресатами. ¹⁸ В ней встречается множество упоминаний о Карамзине (кстати, и о А. Н. Радищеве, Н. И. Новикове и др.). Переписка А. М. Кутузова была частично издана Барсковым Я. Л. в начале XX в. ¹⁹

Среди бумаг Кутузова — копии записки (от 10 ноября 1790 г.) и письма (1791 г., без указания точной даты) писателя, направленные из Москвы в Берлин. ²⁰ Кутузову, выписки из письма последнего от 17 декабря 1790 г. писателю, а также послание Настасьи и Алексея Плещеевых из Знаменского от 7 июля 1790 г. Н. М. Карамзину, путешествующему по Европе. ²¹

Московский почт-директор И. Б. Пестель снял даже копию «с объявления» о журнале («Московском журнале»), который Карамзин предполагал издавать, начиная с 1791 г. ²²

В записке Кутузову писатель сообщал об окончании своего путешествия и приезде на Родину: «Я приехал, когда-то вы приедете, любезнейший брат! О себе могу сказать только то, что мне скоро уже минет двадцать пять лет, и в то время, как мы с вами расстались, не было мне и двадцати двух. Если я переменялся, то, по крайней мере, не в любви своей к вам. В другое время поговорим более, а теперь простите, любезнейший брат! Будьте здоровы и веселы и приезжайте скорее к нам. Ваш верный брат Николай Карамзин». ²³ К записке он приложил свое «объявление» о намерении издавать «Московский журнал».

Обширная переписка А. М. Кутузова, сохранившаяся в Архиве внешней политики России, является ценным источником для изучения раннего периода жизни и творчества Н. М. Карамзина — периода написания им знаменитых «Писем русского путешественника».

- 1) Козлова Н. А., Козлов В. П. Архивные разыскания Н. М. Карамзина. «Советские архивы». 1977. № 3. С. 63—67.
- 2) Архив внешней политики России (АВПР), ф. Административные дела (АД), Ш-20, 1801 г. Д. 1.
- 3) Сообщение об этой находке было опубликовано нами в журнале «Советские архивы». 1988, № 6. С. 81. Турилова С. Л. О работе Н. М. Карамзина с документами Московского архива Коллегии иностранных дел.
- 4) АВПР, ф. АД, Ш-20, 1801 г., д. 1, л. 21, 23.
- 5) АВПР, ф. АД, 1801 г., Ш-20, д. 1, л. 29.
- 6) АВПР, ф. АД, 1801 г., Ш-20, д. 1, л. 30.
- 7) АВПР, ф. АД, 1818 г., П-26, д. 2, П. 28, 1818 г., д. 2.
- 8) АВПР, ф. АД, 1818 г., д. 2, л. 1-2, 6 об.
- 9) АВПР, ф. АД, П-26, 1818 г., д. 2, л. 7.
- 10) АВПР, ф. АД, IV-28, 1818 г., д. 2, л. 2.
- 11) АВПР, ф. АД, П-26, 1818 г., д. 2, л. 4-4 об.
- 12) АВПР, ф. АД, IV-28, 1818 г., д. 2, л. 9.
- 13) АВПР, ф. АД, IV-28, 1818 г., д. 2, л. 10.
- 14) АВПР, ф. АД, I-1, 1821 г., д. 1, л. 18; П-26, 1821 г., д. 5, 1824 г., д. 9 I-1, д. 1, л. 93.
- 15) АВПР, ф. АД, П-26, 1824 г., д. 9, л. 7.
- 16) АВПР, ф. АД, П-26, 1824 г., д. 18, л. 5-5 об.
- 17) АВПР, ф. АД, П-26, 1824 г., д. 18, л. 1-63.
- 18) АВПР, ф. Секретнейшие дела (перлюстрации), оп. 6/2, 1767—1798 гг. д. 1, л. 128-129, 208-208 об.
- 19) Барсков Я. Л. Письма А. М. Кутузова. Русский исторический журнал 1917 г., кн. 1/2. Переписка московских масонов XVIII века, 1780—1792 гг. Пг., 1915 г.
- 20) АВПР, ф. Секретнейшие дела (перлюстрации), оп. 6/2, 1767—1798 гг. д. 1, л. 253-253 об., 165.
- 21) АВПР, ф. Секретнейшие дела (перлюстрации), оп. 6/2, 1767—1798 гг. д. 1, л. 128-129., 208-208 об.
- 22) АВПР, ф. Секретнейшие дела (перлюстрации), оп. 6/2, 1767—1798 гг. д. 1, л. 165-167.
- 23) АВПР, ф. Секретнейшие дела (перлюстрации), оп. 6/2, 1767—1798 гг. д. 1, л. 165.

Н. И. Михайлова

**ПИСЬМО В. Л. ПУШКИНА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
О СМЕРТИ КАРАМЗИНА**

1 марта 1817 г. Карамзин писал из Петербурга П. А. Вяземскому: «Обнимите за меня поэта дядю: люблю любовь его».¹

Василий Львович Пушкин (1766—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина, восторженный почитатель и последователь Карамзина, защитник его от нападков критики, автор первых манифестов карамзинской школы.

Публикуемое письмо В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому, хранящееся в ЦГАЛИ (ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2611, л. 143), написано спустя неделю после смерти Карамзина. Это драгоценный документ, и сегодня сохраняющий теплоту инкреннего высокого чувства.

«Утешать тебя, мой любезнейший я не в состоянии, но готов раделать с тобою твою горечь. Ты знаешь, как много я любил и почитал Николая Михайловича; я умел ценить и превосходный его талант и благородную его душу. Никто заменить его не может, и мы все сделали потерю невозвратимую. Да укрепит Бог Катерину Андреевну² и ее детей!⁴ Сердце мое о них страдает и слезы текут ручьями, когда я представляю себе их положение. Прости. Не могу писать более. Вчера я видел Н. И. Кривцова⁴ и говорил о тебе. Будь здоров. Верь нежнейшей моей к тебе дружбе. Обнимаю тебя и любезного А. И. Тургенева⁵ от всего сердца.

Преданный тебе
Василий Пушкин».

30 мая
Москва

1) Старина и новизна. Кн. 1. СПб., 1897. С. 25.

2) Екатерина Андреевна Карамзина (1780—1851) — внебрачная дочь А. И. Вяземского, единокровная сестра П. А. Вяземского, до замужества Кольванова, с 1804 г. жена Карамзина.

3) Дети Карамзина — Александр (1815—1888), Андрей (1814—1854), Владимир (1819—1879), Николай (1817—1833), Екатерина (1806—1867), Елизавета (1821—1891), Софья (1802—1856).

4) Николай Иванович Кривцов (1791—1843) брат декабриста С. И. Кривцова, чиновник Коллегии иностранных дел, Тульский (1823—1824), Воронежский (1824—1826) губернатор.

5) Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — литератор, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1810—1824), с 1819 г. камергер.

Т. Д. Володина

ПАМЯТНИК КАРАМЗИНУ В ОСТАФЬЕВЕ
(по материалам ЦГАДА)

18 июля 1911 г. в Остафьеве был открыт памятник Н. М. Карамзину. Всем присутствующим на этом торжестве гостям вручалась книга П. С. Шереметева: «Карамзин в Остафьеве». В предисловии автор писал, что открытие памятника Н. М. Карамзину осуществлялось «во исполнение давнего намерения бывшего владельца Остафьева, князя Павла Петровича ВЯЗЕМСКОГО, поставить памятник Карамзину против окна его кабинета, где в продолжение 12 лет, с 1804 по 1816 год написаны были им восемь томов «Истории государства Российского»...

Сам Карамзин говаривал, что если заживет когда-нибудь домом, то поставит в саду своем благодарный памятник Вальтер Скотту «за удовольствие, вкушенное им в чтении его романов»...¹

Эти намерения осуществил граф С. Д. Шереметев, женатый на внучке Петра Андреевича Вяземского Екатерине Павловне. Он впервые увидел и по достоинству оценил Остафьево в 1868 году.

Через 30 лет, в 1898 г. С. Д. Шереметев приобрел Остафьево у брата своей жены Петра Павловна Вяземского, а в следующем 1899 году открыл Остафьево для широкой публики, фактически превратив его в первый в России музей, связанный с именем А. С. Пушкина.

Затем по инициативе и на личные средства С. Д. Шереметёва в остафьевском парке были установлены памятники Н. М. Карамзину, А. С. Пушкину, В. А. Жуковскому, П. А. и П. П. Вяземским.

Автором проекта всех остафьевских памятников был ака-

дёмик архитектуры Николай Захарович Панов. Пьедестал в виде усеченной колонны из темно-красного гранита изготавливался финской фирмой «Кос и Дюрр», работы по бронзе производились петербургской мастерской Нелли.

В Шереметевском фонде № 1287, Оп. 1 ЦГАДА хранится Дело 42/2, в котором собраны, документы, связанные с открытием памятников в Остафьевском парке и позволившие нам узнать или уточнить то, как проводилась работа по созданию памятников: в деле имеется переписка С. Д. Шереметева с автором проекта Н. З. Пановым. К открытию памятников проводилась тщательная подготовка: разрабатывались списки приглашенных, программа торжеств.

На открытии памятника Н. М. Карамзину С. Д. и Е. П. Шереметевы приглашают родных историографа: внучку, графиню Екатерину Петровну Клейнмихель (урожд. кн. Мещерскую), правнучку Марию Николаевну Толстую (урожденную Мещерскую), племянника Александра Николаевича Карамзина. Все они с радостью откликаются на это приглашение.

Екатерина Петровна Клейнмихель пишет 27 июня 1911 г.: «...Я... буду рада быть на этом торжестве, что увижу, наконец, Остафьево, о котором так много слышала от матери моей и от бабушки княгини Веры Федоровны...»²

Мария Николаевна Толстая очень надеясь быть, пишет в конце ноября 1910 г.: «Насколько возможно столь заблаговременно решительно сказать, что приеду на открытие памятника Николаю Михайловичу Карамзину, настолько с глубочайшей благодарностью надеюсь приехать. Вы очень добры, Граф, что приглашаете меня в выражениях самых дорогих для меня (напоминая драгоценную родственную связь с моим великим Дедом...)».³

В день открытия памятника родные Николая Михайловича Карамзина, не имея возможности по разным причинам лично принять участие в этом торжестве, прислали телеграммы:

Александр Карамзин: «...Глубоко сожалею, что болезнь лишает меня удовольствия быть в кругу родных и всех присутствующих в Остафьеве почтить память великого историка...»⁴

Екатерина Клейнмихель: «Глубоко скорблю, нездоровье лишает радости, чести присутствовать при торжестве чество-

вания памяти моего незабвенного деда и видеть вас всех в милом Остафьеве».⁵

Мария Николаевна Толстая: «Душой с вами чествую память великого прадеда».⁶

Обдумывая программу предстоящих торжеств, Сергей Дмитриевич уделяет большое внимание подготовке заседания в память Н. М. Карамзину.

Он намерен открыть это заседание строками стихотворения Ф. И. Тютчева, написанного 1 декабря 1866 г.:

**«Великий день Карамзина
Мы, поминая братской трезной,
Что скажем здесь перед Отчизной,
На что б откликнулась она?»**

В заседании он просит принять участие профессора Киевского университета Владимира Степановича Иконникова и профессора Санкт-Петербургского Университета, директора женского педагогического института Сергея Федоровича Платонова. Владимир Степанович Иконников, соглашаясь подготовить выступление, пишет 19 декабря 1910 г.: «...Занимаясь историографией, конечно, я интересовался Карамзиным. В 1866 году я даже произносил речь в Харькове на его поминках... Много раз потом я касался его труда в своих курсах.

Но теперь для меня интересно было бы знать, какую тему выбрал профессор Платонов, чтобы не остановиться на одном и том же...»⁷

На заседании в день открытия памятника Н. М. Карамзину Владимир Степанович Иконников произнес «обширную речь», как писали в отчетах об этом событии газеты, эта речь была посвящена значению Н. М. Карамзина как историка. Сергей Федорович Платонов в своем кратком выступлении уделил внимание причинам успеха произведений Н. М. Карамзина.

В 5-м томе (выпуске 2-м) «Остафьевского архива», издание которого предпринял С. Д. Шереметев и Е. П. Шереметев писали: «В настоящем выпуске «Остафьевского архива» сделана попытка расширить программу этого издания... В этом выпуске... напечатаны речи, произнесенные В. С. Иконниковым и С. Ф. Платоновым 18 июля 1911 г. в Остафьеве, при открытии памятника Н. М. Карамзину.

Считая долгом принести В. С. Иконникову и С. Ф. Платонову искреннюю благодарность за то, что они сочувственно откликнулись на просьбу принять участие в Остафьевском торжестве и разрешили напечатать свои речи в «Остафьевском Архиве», издатели уверены, что этим положен добрый почин и что на страницах «Остафьевского Архива» впоследствии появятся и другие работы, посвященные вопросам, связанным с Остафьевым».⁸

Эти слова С. Д. и Е. П. Шереметевых, написанные 17 апреля 1913 года, тем более важны, что в 1913 г. планируется открытие в Остафьеве еще трех памятников.

Торжество же открытия памятника Н. М. Карамзину 18 июля 1911 г. начинается в 12 часов в церкви Святой Троицы. Прибывший сюда часом раньше преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, совершил краткое молебствие в церкви, после этого из храма крестный ход направился к месту памятника, где уже местным священником отцом Александром Афанасьевичем Покровским было совершено торжественное молебствие, в конце которого были провозглашены установленные многолетия, а также вечная память «болярицу Николаю и его сродникам».

После возгласения вечной памяти скрывавшая памятник завеса спала.

Затем праздник продолжался в доме. В одном из залов состоялось торжественное заседание, посвященное памяти Н. М. Карамзина. В центре комнаты был помещен портрет историка, а на столе — бронзовый бюст князя П. А. Вяземского.

За обедом, предложенным гостям, звучали тосты, зачитывались телеграммы, тогда же прозвучало приветствие «От Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссии», в котором говорилось, что «Труженикам Архивной Комиссии Остафьево по пребыванию здесь их славного земляка столь же известно и не менее дорого как и знаменитое Михайловское...»⁹

Закончился праздник осмотром кабинета Карамзина, гости расписались в книге посетителей и сфотографировались у памятника Н. М. Карамзина.

Об этом событии в Остафьеве писали газеты «Московские Ведомости», «Московский Листок», «Новое время», «Голос

Москвы», «Раннее Утро», «Утро России», «Земщина».

А вот отклики тех, кто принимал участие в празднике. Гостей было много, и среди них московский губернатор В. Ф. Джунковский, Московский губернский предводитель дворянства А. Д. Самарин, член Государственного Совета Н. А. Зверев, профессора В. С. Иконников, С. Ф. Платонов и Н. Д. Чечулин, поэт, граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов и многие, многие другие.

Профессор Николай Дмитриевич Чечулин так оценил торжества, в которых принял участие: «Глубокоуважаемый Сергей Дмитриевич!

Позвольте принести Вам искреннюю благодарность за день 18 июля, под впечатлением которого я до сих пор нахожусь. Все соединилось, чтобы сделать его полным незабываемого содержания: и прекрасная мысль почтить память великого писателя, в числе блестящих дарований которого, быть может, самым выдающимся было его прекрасное, высокое сердце; и интереснейшие чтения...; и избранное общества, и этот дом, столь величаво-оригинальный — и надо всем этим Ваш прием, который на меня всегда производит впечатление, что все кругом Вами подняты на одинаковую высоту. Я всегда буду гордиться, что был приглашен на это открытие памятника Карамзину, и буду радоваться, что провел этот день в Остафьеве.

...Я истинно счастлив, что обо мне вспомнили при таком исключительном случае...»¹⁰

Другому участнику этих торжеств поэту, графу Арсению Аркадьевичу Голенищеву-Кутузову С. Д. Шереметев посвятил статью после смерти поэта, следовавшей в январе 1913 г., в которой писал о Голенищеве-Кутузове: «Среди многочисленных гостей вижу его возбужденного и радостного во время службы, заседания и за столом, особенно же во время прогулки к березовой аллее, любимой Пушкиным и друзьями его. Здесь мы любовались простором полей и заливных лугов «извилистой Досны» с окрестными деревнями. Гр. Кутузов сел на скамейку, еще сохранившуюся на этой заветной березовой аллее и замолк. Когда я наконец предложил ему вернуться к дому, он сказал: «Подождемте, здесь так хорошо...» После отъезда своего, — продолжает Сергей Дмитриевич, — он написал мне письмо, живо отражающее его впечатления».¹¹

Вот это письмо Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова от 19 июля 1911 г. (Москва): «Перед тем, чтобы вернуться в Санкт-Петербург, ...я испытываю неодолимую потребность еще раз выразить Вам мою глубокую, сердечную признательность за те несколько часов высоко духовной работы и полного нравственного удовлетворения, которые я пережил вчера под благословенным кровом Остафьева и за эти дорогие для меня знаки доброго внимания и сочувствия, которыми Вы меня удостоили.

Во время пребывания моего в Остафьева чувлось мне, будто славные тени великих людей, некогда живших там, вдохновлявшихся и творивших свои бессмертные создания, витали над нами и участвовали в устроенном Вами торжестве. То был, поистине, духовный пир, и до последних дней я сохранил о нем самое светлое признательное воспоминание.

Не знаю, удастся ли мне, как хотел бы, воспеть этот пир стихами, хоть несколько достойными этих имен и образов, которые они воскрешали в сердцах и мыслях всех его участников?

Под старость струны души ослабевают и блекнет вдохновение. Быть может, однако, сила и прелесть испытанных мною впечатлений оживят мою дряхлеющую Музу и Она найдет мне слова искренней, задушевной песни...»¹²

В этот день в Остафьева не смог быть сын В. А. Жуковского Павел Васильевич, но на приглашение и на само событие в Остафьева откликнулся из Веймара, где жил: «...Мысль соорудить памятник Карамзину именно в Остафьева мне бесконечно нравится.

Лучшее в России — деревня. Я всегда предпочитал всему на свете, то что жители больших городов называют глушью. Сколько свету на всю Россию вышло из этой глуши в эпоху рождения русской поэзии...»¹³ — писал он в июле 1911 г.

П. И. Бартнев, откликнувшийся на приглашение принять участие в открытии памятника Н. М. Карамзину и написавший в июне (16 июня) 1911 г. следующие строки: «К невзгодам старости моей причисляю и невозможность воздать лично честь великому писателю и еще побывать в Вашем прекрасном приюте наук и искусств...»,¹⁴ открытие памятника Н. М. Карамзину оценил следующим образом (18 июля он

писал Екатерине Павловне из Москвы): «Милостивая Государыня Графиня Екатерина Павловна!

Благоволите принять выражение моего глубокого сочувствия к тому, что нынешний день происходит в Остафьеве: в лице Карамзина почтены все занимающиеся Русской историей».¹⁵

Небольшая заметка в газете «Земщина» от 23 июля 1911 г. об открытии памятника Н. М. Карамзину заканчивалась словами: «Большое спасибо графу С. Д. Шереметеву должны сказать все русские люди».¹⁶

1) П. С. Шереметев. Карамзин в Остафьеве. СПб., 1911. С. 5.

2) ЦГАДА, Ф. 1287, Оп. 1, Ед. хр. 4272, Л. 39.

3) Там же, Л. 10—11.

4) Там же, Л. 60.

5) Там же, Л. 62.

6) Там же, Л. 53.

7) Там же, Л. 12.

8) «Остафьевский архив», т. 5, выпуск. II. 1913. С.

9) Там же, Л. 64.

10) Там же, Л. 70—71.

11) ЦГАДА, Ф. 1287, Оп. I, Ед. хр. 5340, Л. 1—3.

12) ЦГАДА, Ф. 1287, Оп. I, Ед. хр. 4272, Л. 73—74.

13) Там же, Л. 75.

14) Там же, Л. 23.

15) Там же, Л. 57.

16) Там же, Л. 67.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

- Е. О. Ларионова. К изучению исторического контекста «Записки о древней и новой России» Карамзина. 4 — 12.
- Г. Н. Моисеева. «История Государства Российского» Карамзина в оценке И. Добровского. 13 — 19.
- Н. А. Марченко. Эмблемы и аллегории в творчестве Карамзина. 20 — 30.
- Н. И. Михайлова. Карамзин-оратор. 31 — 37.
- А. В. Михайлов. Карамзин и немецкая литература 38 — 45.
- Н. К. Телетова. Ф. М. Клингер и Карамзин. 46 — 54.
- Ф. З. Канунова, О. Б. Кафанова. О философских вопросах мировоззрения Карамзина и Жуковского (восприятие Ш. Бонне). 55 — 72.
- С. О. Шмидт. Пушкин и Карамзин. 73 — 91.
- Л. Г. Шакирова. Еще раз об «одной из лучших русских эпиграмм». 92 — 101.
- В. И. Сахаров. Воспитание ученика. 102 — 110.
- В. Э. Вадуро. Встреча (Из комментариев к мемуарам о Карамзине). 111 — 126.
- Н. Д. Блудилина. Толстой и Карамзин. 127 — 135.
- В. П. Старк. «Письма русского путешественника» в прочтении М. Цветаевой. 136 — 150.
- И. В. Кондаков. Карамзин-критик через призму опыта XIX и XX веков. 151 — 163.
- А. С. Янушкевич. Письма Г. И. Спасского к Карамзину. 164 — 169.
- С. Л. Турилова. Материалы о Карамзине в Архиве внешней политики Российской империи. 170 — 174.
- Н. И. Михайлова. Письмо В. Л. Пушкина о смерти Карамзина. 175 — 176.
- Т. Д. Володина. Памятник Карамзину в Остафьево (по материалам ЦГАДА). 177 — 183.